

БОЛЬШИЕ  КНИГИ

Джек Лондон

ЛЮБОВЬ
К ЖИЗНИ

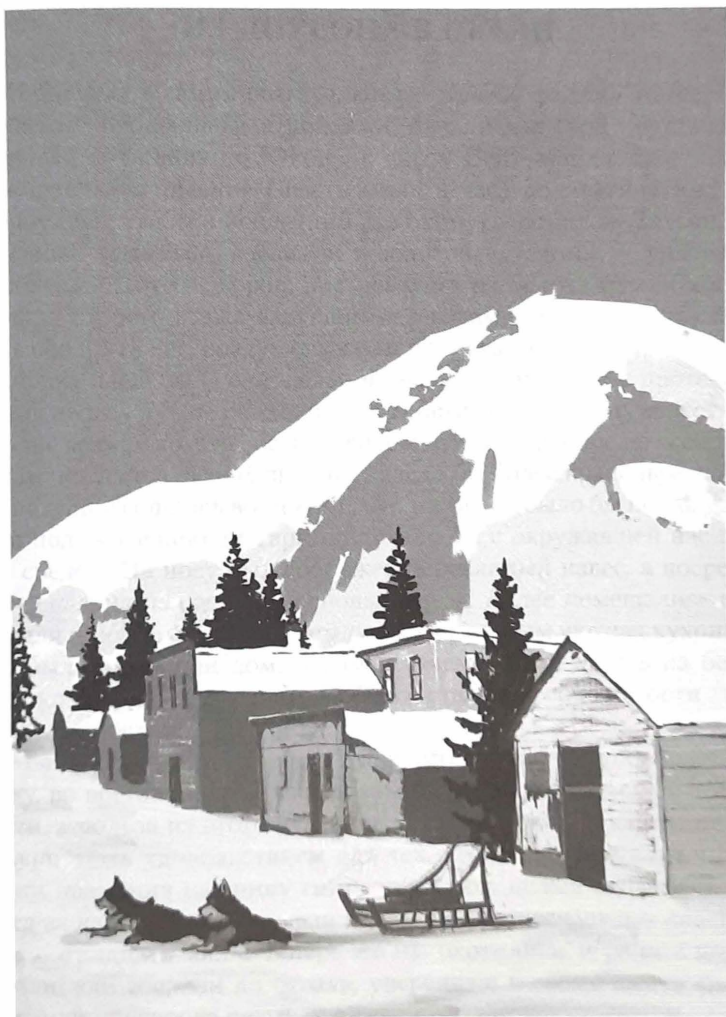
Сказания
о Дальнем Севере

«И Н О С Т Р А Н К А»



СТАРАТЕЛИ СЕВЕРА

Рассказы и очерки разных лет



ИЗ ДОУСОНА В ОКЕАН

Июнь был в самом разгаре, когда, отвязав фалинь лодки, сопровождаемые прощальными криками, начали мы свой двухтысячегильный путь вниз по Юкону, к порту Сент-Майкл. Как только стремительное течение (шесть миль в час) подхватило нас, мы обернулись, чтобы в последний раз окинуть взглядом Доусон, населенный комарами, собаками и золотоискателями, — унылый и безлюдный Доусон, город, построенный на болоте и залитый теперь до второго этажа вздувшимися водами реки. Друзья старались ободрить нас, воздух огласили приветы родным.

Лодка наша была самодельной, не очень прочной и протекала, но как нельзя лучше подходила к суровым условиям путешествия. Вполне возможно, что обструганное и отполированное по всем правилам искусства суденышко выглядело бы более красивым, но мы единодушно сошлись во мнении, что тогда оно было бы не так удобно и положительно дисгармонировало бы с окружавшей нас грубой средой. На носу был сооружен деревянный навес, а посредине — спальня из одеял и сосновых веток. Далее помещались скамья для гребцов и зажатая между нею и рулевым уютная кухонька. Это был настоящий дом, и нам незачем было сходить на берег, если, конечно, не учитывать любопытства да необходимости запастись хворостом.

Мы поклялись превратить наше путешествие в приятную прогулку, во время которой все работы будут выполняться силой тяжести, а польза из этого будет извлекаться нами. А каким же это должно стать удовольствием для тех, кто давно уже взял в привычку, навьючив на спину гигантский тюк, целый день тащиться вслед за нартами, проделывая каких-нибудь несчастных двадцать пять — тридцать миль! Теперь же мы охотились, играли в карты, курили, ели и спали до отвала, уверенные в своих шести милях в час, или ста сорока четырех в сутки.

Почти не задерживаясь в пустынном старательском лагере Сороковая Миля и в форте Кыюдахы¹, мы прибыли в Игл-Сити — первый американский город после границы. Удрученные чрезмерной придирчивостью чиновников Северо-Западных территорий, мы не могли не преисполниться восторга по поводу вступления на землю Дядюшки Сэма. Пятьдесят обитателей города в ожидании парохода с продуктами резались в карты, но тщетны были их усилия втянуть и нас в игру.

В трехстах милях ниже Доусона мы увидели Серкл-Сити. Перед клондайкскими приисками это самый большой лагерь на Юконе, названный так по причине близости к полярному кругу. Расположен он у начала великих юконских низин — унылого края, о котором мало что известно. Низины представляют собой обширную часть низменности, раскинувшейся на сотни миль вокруг, на нее то и выливается Юкон, фактически теряясь в ее просторах. Протекавшая до сих пор между отрогов строгих и суровых гор и лишь изредка встречавшая на своем пути острова, река начинает делиться и распадаться на бесчисленные рукава. Всякому попавшему сюда, на эту бескрайнюю территорию, раздробленную на несметное число островков и каналов, предстоит решить непосильную головоломку. Говорят, что человек, потерявший верное направление, может неделями блуждать в этом запутанном лабиринте. По обе стороны его залегают бескрайние глухие топи, словно поджидая неосторожного путника. На протяжении десятков миль ценою невероятных усилий будет он прокладывать дорогу, прежде чем поймет, что отсюда нет выхода и единственный верный путь для него — это вернуться назад. Острова здесь покрыты лесом, залиты водой и не годятся для высадки. Этот край — одно из великолепнейших гнездовий в мире — в изобилии населен всевозможными видами уток, черных казарок, гусей и лебедей. Искателя приключений, лицом к лицу столкнувшегося с этой всепроникающей стихией вод, слякоти, сырой растительности и комаров, сразу перестают привлекать путевые остановки, в нервном нетерпении и с неожиданной поспешностью начинает он искать протоки пошире и течение побыстрее.

Углубившись миль на восемьдесят пять в низины, туда, где Юкон пересекает полярный круг и совершает свой знаменитый поворот на юго-запад и где Поркьюпайн, пробравшись через болотистую глушь, впадает в него с востока, мы и пристали у Форт-

¹ *Форт Кыюдахы* — торговый пост в устье реки Сороковой Мили, на противоположном от одноименного поселения берегу.

Юкона — старинного поста Компании Гудзонова залива. Здесь находятся склады Североамериканской транспортной и торговой компании и Коммерческой компании Аляски и индейская деревня. Зимой, когда Доусон испытывает жестокую нужду в продовольствии, склады эти бывают забиты битком: уже задолго до закрытия навигации пароходы не решаются подниматься вверх по реке, доставлять же провиант нартами на такое большое расстояние практически невозможно.

Последний в этом году пароход «Белла» теперь усиленно грузился. Кругом царили оживление и суeta. Четыре часа утра у полярного круга, а солнце уже высоко. Тепло необычайно, словно это разгар какого-нибудь праздничного дня. Все смеется, радуется и шумит. Местные щеголи кокетничают и заигрывают с девицами, индианки постарше судачат группками, а тем временем молодые, уединившись, хихикают по углам. Ребятишки играют и ссорятся, а совсем маленькие возятся в пыли с похожими на волков городскими собаками. Фантастически расплывающиеся клубы дыма носятся в воздухе, дружно вздымаются, крутятся в вихре, сходятся в свинцово-сером небе.

Только чутьем да ощупью можно разобрать что-либо. Дым поднимается от бесчисленных костров, неся горе комарам, слезы нежным глазам белых и придавая всему окружающему таинственный колорит нереальности.

На протяжении всей этой части пути трудно было поверить, что мы находимся в далеких северных широтах. Казалось, будто перед нами волшебная страна, полная неожиданностей — таких, например, как духота и тропический зной. Где! Здесь, под полярным кругом, днем и ночью задыхаешься от жары, хотя лежишь поверх одеял. Багровый солнечный диск, как налитый кровью шар, висит над горизонтом. Необычна красота этой ночи средь бела дня, вечно плывущей перед глазами, — это ты плывешь, увлекаемый стремительным потоком, и то проскальзываешь по узкому каналу, где лесистые берега точно смыкаются над тобой, то вырываешься на простор, туда, где тысячи потоков сливаются в могучую реку; но вот — снова разветвляющиеся течения, узенький канал, нависший над головой лес, запах земли и теплая сырость растений. А надо всем этим — гул жизни, внезапно прорвавшийся в неудержимой песне, которая перерастает в громкий, тупой рев довольства или замирает вдали в сладостной пустоте безмолвия. Ни звука, пока мы огибаем песчаную косу и испугиваем одинокого журавля, пребывавшего в мрачной задумчивости. Перепел захлопал в лесу крыльями, шумно фыркнул входящий в воду лось — и снова тишь. По-

том где-то в глуши ухает сова, гортанно каркает над гладью ворона. Внезапно проносится над зеркальной поверхностью дикий крик гагары, порождая бесчисленные отклики. Начинают свой звонкий сочный щебет малиновки, и леса наполняются музыкой. Сразу заиграли на нескольких инструментах белки, под отчетливые ритмы дятла принялись выводить пронзительные трели черные дрозды. Чистое крещендо певчих птиц сопровождается вскриками перепела. И вот все слилось во всеобщем гвалте. Неведомая болотная птица присоединяет свой иступленный вопль к нарастающему крещендо, и его финал, достигнув предельной высоты, медленно замирает вдали. Где-то ребенок робко взывает к матери, и воцаряется молчание.

Через триста миль после низин мы достигли Минука, главного старательского лагеря в низовьях. Теперь он получил менее звучное имя — Рампарт-Сити. Новости, привезенные из Доусона, не могли, разумеется, быть свежими, но люди в низовьях вообще всю зиму не имели никаких новостей. Поэтому, как только мы причалили, нас забросали вопросами. Больше всего беспокоили слухи о войне¹, футбольная игра в День благодарения и казнь Дюранта². В соответствии с обычаем Севера мы «развили» каждый параграф в главу и все же потерпели полный провал в своей попытке утолить их ненасытную жажду.

Промчавшись через стремнины ниже Минука, в том месте, где некогда Юкон пробил себе кратчайший путь через каньон Рампарт, мы подплыли к Танане. Здесь же расположена и индейская деревня Нуклукайто, в нескольких милях от нее находится старая миссия Святого Иакова. Мы прибыли туда сразу после полуночи и попали на большие празднества. С минуты на минуту ожидался весенний ход лосося, и вся миссия, а также жители Тананы и Тоцикаката были в полном сборе, и еще много другого народа, обитающего в сотнях миль вверх и вниз от этой фактории. Мы поставили наше тяжелое судно среди легких, сделанных из коры каноэ, которые в беспорядке теснились у берега, и сразу же оказались в огромном рыбацком лагере. С трудом пробравшись между шатрами среди ползающих детей и грызущихся собак, мы направились к большому бревенчатому дому, где гулянье было в самом разгаре. Только с помощью изрядного числа щелчков и подзатыль-

¹ См. примеч. на с. 308.

² Теодор Генри *Дюрант* (1871–1898) по прозвищу Демон с Колокольни был повешен в калифорнийской тюрьме Сан-Квентин по обвинению в двух убийствах, совершенных в баптистской церкви Эммануила в Сан-Франциско.

ников удалось нам протиснуться сквозь толпу детишек ко входу. Длинная низкая зала была буквально забита танцующими. Кроме как через единственный дверной проем, у которого толпились люди, сюда не было доступа ни свету, ни воздуху; и в этой полутьме рослые индейские парни и индианки с дикими глазами, обливаясь потом, завывали в вихре танца, который не поддается никакому описанию. С особым чувством, знакомым всякому путешественнику, который покоряет дотоле неприступную вершину, мы уже собирались насладиться первобытностью обстановки, когда (представьте наше разочарование!) обнаружили, что даже сюда, в глушь, за тысячу миль от ближайшего рубежа цивилизации, уже проник в поисках приключений белый человек. Страдая от духоты и бившего в нос запаха разгоряченных тел, мы неожиданно углядели загорелое лицо, голубые глаза и белокурые усы вездесущего англосакса. С первого взгляда можно было понять, насколько свободно он здесь себя чувствует.

В ста милях ниже Нуклукайто наш ночной сон был прерван дикими песнопениями, которые то нарастали, то необъяснимо умолкали по ту сторону вод. Часом позже, миновав излучину, мы пристали у рыбацкой деревни, жители которой настолько были увлечены религиозным обрядом, что даже не заметили нашего прибытия. Вскарабкавшись по берегу, мы оказались вблизи места, где совершалось таинство. Около сотни мужчин пели, издавая звуки, рожденные, очевидно, еще в ту далекую эпоху, когда мир был совсем юн, и еще хранившие в себе дух первобытного, вероятно обитавшего на деревьях человека, которого столь превосходно описал мистер Дарвин. Подбадриваемые шаманом, женщины бились в религиозном экстазе; распущенные черные, как воронье крыло, волосы спадали до самых бедер, а тела колебались и извивались в такт песенному ритму.

Но и тут обнаружили мы следы вездесущего англосакса; да, здесь, под пологом шатра, распознали мы его в глазах женщины-полукровки, прижимавшей к груди младенца. Изящно сложенная, с европейскими чертами и нежным овалом лица, она похожа была на жемчужину, затерявшуюся в грязи. Лафкадио Хирн¹ много и с большим нафросом говорил о японцах-полукровках — насколько же тяжелее жребий юконских индейцев-метисов! Их жизнь до краев полна непосильного труда, лишений и одиночества. Разве отважилась бы белая женщина при температуре пятьдесят-семь-

¹ Патрик *Лафкадио Хирн* (1850–1904) — ирландско-американский прозаик, переводчик, востоковед, специалист по японской литературе.

десять градусов ниже нуля с грудным ребенком за спиной пуститься в путь и делать миль по сорок в день на собаках? А возьмите охоту, или рыбную ловлю, или дни, когда когтистая рука голода и болезней опускается на становище! Судьба их — будь то индейцы побережья Аляскинской ручки¹ или эскимосы Ледовитого океана, от Скалистых гор и до самых западных Алеутских островов, — везде одна и та же.

Когда начинаешь обмен с местными жителями, гораздо глубже познаешь убожество и нищету их жизни. Из края в край летит жалобная мольба о лекарствах. Уже после первого общения улавливаешь трогательные нотки того могучего хорала душевной тревоги, который исходит из глубин их сердец. Как-то в надежде раздобыть образчик бус забрел я в летнее индейское становище, что в устье Коюкука. Возле одного из самых аккуратных шатров я завязал разговор с молодой метиской о покупке у нее какой-то необычайно красивой вещицы; уходил я под впечатлением ее слов. Я был потрясен, увидев перед собой прелестную крошку, игравшую на циновке из медвежьих шкур, розовощекую, голубоглазую, с соломенно-светлыми волосенками, настоящую саксонку. Несколько раз делал я попытку принудить себя при товарообмене проявить твердость в цене, но всякий раз уступал, не в силах забрать мой охотничий нож или кисет из крошечных пальчиков девчушки, смотревшей на меня голубыми глазами своего белого отца. И когда, поборов наконец слабость, я стал упорствовать, ее мать сказала: «О ты, большой белый человек, зачем так дорого? Я много работал, о, так много работал. Я ловил рыба и лось и молот зерно для двоих, и нет мужчины помощь мне».

Я вопрошающе указал на ребенка и услышал ответ: «Он давно ушел: теперь один — два — три год».

Сделка, которую удалось ей заключить, вызвала великую зависть ее угрюмых сестер, толпившихся у порога.

В глубине материка везде, за исключением глухих местечек да северных склонов высоких гор, снег к середине июня совершенно растаял. Но от Тоцикаката и до самого Коюкука снега стало заметно больше, от него не свободны даже южные склоны — признак того, что мы приближаемся к побережью, а точнее — к зоне прибрежного климата, поскольку находимся еще в семистах милях от устья реки. Как известно, при морском климате, благодаря близо-

¹ *Аляскинская ручка* — неофициальное название Юго-Восточной Аляски (возникшее вследствие сходства картографического изображения этого штата с ковшом, в котором юго-восточное побережье как раз и приходится на место ручки).

сти воды, тепло поглощается и излучается не так быстро, как в глубине континента. Поэтому и зима в Доусоне значительно холоднее, а лето значительно теплее, чем в Сент-Майкле. Вдоль берега Берингова моря даже месяц спустя после северного солнцестояния можно увидеть большие массивы снега.

В Нулато, в шестистах пятидесяти милях выше устья, мы встретили два небольших, снаряжаемых в путь парходика и узнали о масштабных приготовлениях к исследованию реки Коюкук, которая рассматривается как будущий аляскинский Клондайк. Прибыли мы к самому началу службы в католической миссии, и странно было смотреть на словно изваянное тонким резцом лицо обутого в мокасины и уныло-бесстрастного священника и слушать необычный хор пронзительных голосов индейских женщин и низкие басы стариков. Отец Монро, образованный и, по слухам, весьма богатый француз, вот уже пять лет отдает свои силы миссионерскому промыслу, усердно трудясь в Нулато. Индейцы в миссиях выглядят всегда лучше — энергичнее и здоровее, — чем где-нибудь в другом месте, однако создается впечатление, что христианство никогда не проникает в них глубоко. Некоторые мои сувениры — свидетельство того, с какой охотой обменивают они крест на старую колоду карт.

Весна была очень ранней, и ледоход на Юконе сопровождался таким большим разливом, каких не видали многие годы. От Доусона до Кутлика все фактории и давным-давно построенные деревни были беспощадно залиты водой, а многие смыты. По некоторым признакам можно судить, что работа ледохода на протяжении последних пятисот миль реки была поистине опустошительной. Немало береговых участков и целые острова наголо очищены от деревьев, которые обычно теснятся в низинах. Толстые стволы вырваны с корнем или буквально перерезаны пополам гранитными телами льдин, а молодые деревца согнуты их тяжестью и, полностью лишенные коры, белеют, словно кости на бесконечном поле ожесточенной битвы.

Дичи и рыбы в изобилии на всем протяжении реки, и в каждом становище можно найти свежую шкуру медведя или какого-нибудь другого зверя, растянутую на сушильной раме. Охотились мы главным образом сами, но на сбор яиц и рыбную ловлю времени не тратили, предпочитая покупать эти продукты. Яйца, к сожалению, чаще вызывали у нас разочарование: мы совсем не испытывали удовольствия от обнаруживаемых там утиных и гусиных зародышей, которые привели бы в восторг уроженцев этого края. Но рыба была превосходна, и особенно лосось. Хотел бы я, чтобы тот,

кто на рыбном базаре втридорога платит за серебристого лосося, а потом восхищается им, поехал бы на Север и купил там за чашку муки гигантского королевского лосося весом фунтов в сорок-пятьдесят чистого мяса. Такого откормленного, как бык, упитанного, холодного и, главное, восхитительного на вкус лосося можно добыть только в ледяных водах Юкона. Правда, требуется некоторое время, чтобы научиться торговать с индейцами. Тут нужно обладать таким же, как у Иосифа, умением предвидеть и таким же, как у Иова, терпением, иначе вас просто надуют. Тот белый, который в этом деле набил себе руку, обычно прикидывается заинтересованным в каком-нибудь вовсе ему не нужном предмете и проявляет полное равнодушие к тому, за чем пришел. Тогда индеец сразу поднимает цену на первое и, соответственно, снижает на второе. Когда цена на пужную вещь таким образом падает донельзя, покупатель хватается ее и тут же расплачивается. Торговец, конечно, раздосадован, но сделка есть сделка.

От охоты мы не могли отказаться, хотя дробовик наш был старым и ветхим, а один спусковой крючок упорно разряжал сразу оба ствола. Уж очень заманчиво во время ночного дежурства, медленно скользя мимо низких, затопленных водой берегов, смотреть на висящее над северной стороной солнце и под храп накрытых москитной сеткой товарищей сбивать диких птиц, испуганно поднимающихся с реки.

Только ко времени прибытия в Анвик, в шестистах милях от устья, мы по-настоящему оценили все величие реки, по которой путешествовали. У Форт-Юкона, в тысяче трехстах милях от океана, она имеет ширину восемь миль; у Коюкука сужается до двух-трех миль, а от Косеревского¹ она выдерживает ширину восемь-десять миль до самой широкой дельты, где ее южный приток отстоит от северного более чем на восемьдесят миль. У Анвика ширина реки сорок миль, а весенний подъем воды — от тридцати до сорока футов. Такой огромной шириной река обязана острову, по всей видимости крупнейшему речному острову в мире, который тем не менее никак не назван.

От Анвика и до самого океана встречаешь совершенно иное население. Хорошо сложенные, рослые индейцы исчезают, и их заменяют мэйлмюты — нечто вроде смеси эскимоса и тлинкита. Лишенные честолюбия, пассивные и постоянно бедствующие, они не представляют интереса для белых торговцев, поэтому по-прежнему

¹ *Косеревский* — селение на левом берегу Юкона, напротив миссии Святого Креста.

му живут на строгом мясном и рыбном рационе, изрядно сдабриваемом отвратительно пахнущим тюленьим жиром. Дома их — это земляные норы, укрепленные собранными на берегу стволами деревьев. В центре дома раскладывается костер, дым от которого выходит через отверстие в крыше. Зимой мужчины, женщины и дети набиваются в эти норы, как сельди. О санитарных и бытовых условиях и об атмосфере в семьях без труда можно догадаться.

Однако они с большим почтением относятся к умершим; их кладбища опрятны, чисты и радуют глаз. Неровный частокол окружает могилы, покрытые обычно навесом от дождя. Нередко с помощью сажи и тюленьего жира на них изображаются фантастические рисунки. Бывает, на могилы водружают затейливо вырезанный тотем, но, судя по крестам, подавляющее большинство умерших покоится в земле, освященной Католической церковью. Сразу даже трудно сказать, почему не имеет успеха протестантизм, но более впечатляющий ритуал католической службы, к тому же столь богатый милым первобытному сознанию мистицизмом, в противоположность предельно простому, пуританскому обряду протестантского богослужения, возможно, объяснит и это.

Проплывая от миссии Святого Креста до Русской миссии в Икогмюте¹, замечаешь, что горы уныло снижаются. В Андреевской² мы послали «прости» последним жалким холмам и поплыли среди печальных равнин Большой дельты Юкона. Это было повторение низин, но чреватое куда более серьезными последствиями. Одна ошибка в этой дикой, не нанесенной ни на какую карту местности — и ты попадешь в русло Южного канала и будешь обречен блуждать неведомо где без проводника и лишенный какого бы то ни было ориентира до тех пор, пока не выберешься к побережью сурового Берингова моря. Мы высокомерно отнеслись к предложению взять проводника-мэйлмюта и поплатились за это — нам пришлось потратить два дня на то, чтобы проплыть эти сто двадцать миль. Зато мы без стеснения дали выход нашей бурной радости, когда ощутили наконец первую волну морского прилива; а когда в Кутлике мы легли спать на берегу открытого океана, то почувствовали себя уже почти дома.

Восьмидесятимильный путь вдоль побережья на Север был полон волнений. Проходя мимо опасного мыса Романова, мы подо-

¹ *Икогмют* (впоследствии — *Русская миссия*) — эскимосское селение на правом берегу Юкона, где в 1845 г. была основана православная миссия.

² *Андреевская* — русская фактория на правом берегу Юкона, неподалеку от юконской дельты, разоренная туземцами в 1855 г. и заброшенная.

брали иезуитского священника, которому туго пришлось в водовороте. Несмотря на свой сан, он курил трубку, был неплохим гребцом и вообще оказался превеселым парнем, готовым наравне с другими предаваться рассказам о всяких невероятных историях. Он был одним из многих представителей того необычного типа людей, которых встречаешь в Северной стране. Итальянец по крови, француз по рождению, испанец по образованию и американец по месту жительства, он был в свое время изумлявшим успехами учеником, и вся его жизнь походила на роман; но, выполняя присягу, данную своему ордену, он пожертвовал Аляске двенадцать лучших лет жизни и, казалось, был доволен здесь всем, даже премудростями грамматики иннуитского¹ языка.

Последняя наша встреча с Беринговым морем была достойным финалом путешествия. Полночь застала нас еще барахтавшимися в море: скалистый берег с подветренной и грязные небеса с наветренной стороны, и ко всему — брызги дождя и вой ветра, вот-вот готового превратиться в ураган. Мы подобрали паруса, чтобы уменьшить риск перевернуться во время шторма, и, опережая его, достигли гавани Сент-Майкл ровно три недели спустя с того часа, когда покинули пристань Доусона.

1898, опубл. 1899

ЧЕРЕЗ СТРЕМНИНЫ К КЛОНДАЙКУ

Мы спешили. Все спешили. Спешка типична для золотой лихорадки, а для клондайкской лихорадки 97-го года — особенно. Октябрь был на носу, земля покрылась снегом, река грозила вот-вот замерзнуть, а до Доусона все еще было далеко — несколько сот миль на север.

Никогда за всю историю Севера никто не рисковал так безрассудно, и никогда еще туда не проникали более отчаянные люди. Ветераны Клондайка — те самые, которые принесли ошеломляющие вести и тяжелые мешочки арктического золота, которые, собственно, и были виновниками охватившей всю страну азартной погони, — высмеяли наше заявление о том, что мы пронесем снаряжение через перевалы и сплавим его в лодках до Доусона этой же

¹ *Иннуиты* — самоназвание группы коренных народов, проживающих на северных территориях США и Канады и входящих в эскимосскую этническую группу.

осенью. Но мы все же это сделали, и, когда в самый разгар снежного бурана и ледяного затора несколько тысяч нас прибыло в Доусон, старожилы ахнули. Прекрасно представляя невероятные трудности подобного путешествия в это время года, они и вообразить не могли, что кто-нибудь на него отважится и тем более успешно его завершит.

Понятно, часть из нас погибла по дороге, другая была затерта льдами, тысячи изможденных, потерявших веру в свои силы вернулись с перевалов назад, но наша группа оказалась в числе тех, кому повезло. Мы знали, на что идем, и в нас была крепка решимость, начав путь, пройти его до конца. Дав вам понятие об этом, я приступаю теперь к рассказу о Ящичном ущелье и порогах Белой Лошади.

Для того чтобы вы поняли, с каким благоговением относятся к этим местам старожилы, приведу цитату из Майнера У. Брюса¹, аляскинского пионера, — в пути мы не раз обращались к его книге.

«Если путешественник — опытный гребец, он сможет провести свою лодку по ущелью и причалить к правому берегу. Если же нет, то ему надлежит переправить лодку волоком. Отсюда на протяжении двух миль до начала порогов Белой Лошади ему следует держаться левого берега. Большая осторожность необходима при достижении места причала выше Белой Лошади. В случае низкой воды лодку можно спустить с помощью веревки, но, если вода высока, ее нужно перетащить волоком».

Река Шестидесятой Мили, которая, собственно, является верховьем Юкона, вытекает из озера Марш² и имеет в ширину от одной восьмой до четверти мили. Она глубока и стремительна — судите сами, сколько воды она несет. То она разливается на сотню ярдов, огибает мысок, образуя довольно тихую заводь, где еще можно пристать, то мчится, стиснутая до восьмидесяти футов скалистыми стенами гор. Вся эта огромная масса воды, зажата в узкой теснине, развивает чудовищную скорость, бурлит вся в водоворо-

¹ *Майнер Уэйт Брюс* — американский журналист и исследователь Арктики, автор книг «Страна будущего, или Пять лет на Аляске» (1893) и «Аляска, ее история и богатства, золотые прииски, дороги и ландшафт» (1895); из гл. 6 второй книги и взята приводимая Лондоном цитата.

² Довольно существенная ошибка Лондона, в пору написания данного очерка (февраль 1899 г.), по-видимому, еще плохо разбиравшегося в географии этого края: река Шестидесятой Мили берет начало на Аляске и после пересечения канадской границы впадает в Юкон у одноименного поселка старателей в 95 км выше Форта Доверия — то есть значительно севернее озера Марш (которое, собственно, и является «верховьем Юкона»).

тах вздымающихся, словно стены, волн. Наткнувшись на препятствия, середина сдавленной скалами стремнины подымается, как хребет высотой футов шесть-восемь, его называют «гребнем».

Ущелье тянется милю. Примерно на полпути стены по обеим сторонам его раздвигаются, образуя гигантскую круглую чашу. Врывающийся в нее поток создает могучий водоворот. Говорят, когда-то два шведа попали в этот водоворот. Лодка у них была крепкая, и поначалу они пытались выбраться, но, потерпев неудачу, принялись то вычерпывать воду, то молиться, положившись на счастливый случай. Целых четыре часа их крутило и вертело, а потом какой-то непостижимый каприз вод вынес их в каньон целыми и невредимыми, если не считать нервного потрясения.

Привязав нашу лодку «Красавица Юкона» перед порогами Ящичного ущелья, мы — я и три моих товарища — отправились на разведку. Сотни золотоискателей тащили свое снаряжение на себе. Для нас это означало бы два дня изнурительного пути, тогда как, если бы мы попытались счастья и решились проскочить, все дело заняло бы только две минуты. По нашему обычаю, мы проголосовали, и второй способ был принят единодушно.

Я надежно закрепил рулевое весло, чтобы его не вырвало, рассадил своих товарищей — ведь я был капитаном. Искушенный в странствиях по Южной Америке и уже поплававший на лодках, Меррит Слоупер вооружился гребком и занял место на носу. «Сухопутные моряки» Томпсон и Гудман, не имевшие до этой поездки понятия о гребле, были посажены на весла. Для ясности необходимо добавить, что, помимо людей, наша двадцатисемифутовая лодка несла еще свыше пяти тысяч фунтов багажа и, следовательно, не обладала запасом столь необходимой для подобного предприятия плавучести.

— Держитесь гребня! — крикнули нам с берега, когда мы отчалили.

Несмотря на быстрое течение, поверхность воды казалась спокойной и отливала масляным блеском, но стоило нам очутиться в пасти Ящичного ущелья, как река мгновенно превратилась в сорвавшийся с цепи хаос. Опасаясь, что гребцы упустят весла или совершат еще какую-нибудь роковую ошибку, я велел убрать весла.

Все происходило с чудовищной быстротой. Какой-то миг я видел фигуры людей, наблюдавших за нами с окрестных скал, мчавшиеся мимо, подобно двум экспрессам-близнецам, каменные стены; но затем сосредоточил все силы на том, чтобы удержаться на гребне. Он весь был в зубцах упругих волн, на которые перегруженная, неуклюжая лодка не могла взобраться — она пронзала их но-

сом. Я поймал себя на том, что, несмотря на страшную опасность, улыбаюсь нелепым антраша, которые выделявал примостившийся на носу Слоупер. Он как сумасшедший работал своим гребком, но всякий раз, когда он делал исполинский замах, корма проваливалась в яму между волнами, нос взмывал вверх, и Слоупер черпал воздух. При следующем взмахе нос исчезал под водой, которая вот-вот грозила смыть гребца, весившего всего-то сотню фунтов. Но он не терял присутствия духа и выдержки. Внезапно Слоупер обернулся и что-то встревоженно крикнул — слова его потонули в оглушительном реве волн. В следующее мгновение мы соскользнули с гребня. Вода со всех сторон хлынула в лодку: подхваченная водоворотом, она вот-вот готова была стать поперек течения. Это означало гибель. Я изо всех сил налегал на весло, так что оно затрещало; в тот же миг сломался гребок Слоупера.

Мы стремительно неслись вниз, не более чем в двух ярдах от стены. Не раз казалось, что наши расчеты с жизнью покончены. Но, поднявшись почти боком на гребень, лодка в конце концов перепрыгнула через гигантскую волну и, как ядро из пушки, вырвалась в водоворот гигантской чаши.

Отдав приказ спустить весла, чтобы выровнять лодку, и внимательно следя за игрой течения, я мог теперь перевести дух, но тут нас унесло в другую половину ущелья. Нас снова швыряло слева направо и справа налево через гребень, но теперь это было не более чем повторение испытанного прежде, и несколько секунд спустя «Красавица Юкона» мягко стукнулась о берег. Милую по ущелью мы проделали за две минуты, судя по часам.

Слоупер и я отправились по берегу назад и проскочили через ущелье с лодкой одного нашего приятеля, что было довольно рискованным предприятием, так как суденышко это — длиною-то всего двадцать два фута — было перегружено, как и наше. Потом мы вычерпали воду и, минуя остовы разбитых лодок — свидетельство гибели многих смельчаков, пронеслись миля две по обычным порогам до начала порогов Белой Лошади.

Белая Лошадь опаснее Ящичного ущелья. До нас ее никто не проходил: все попытки оканчивались трагически. Здесь было принято не только переносить снаряжение, но даже лодки тащить волоком с помощью еловых жердей. Однако мы спешили и к тому же были ободрены предыдущей удачей, поэтому ни на фунт не облегчили лодки.

Самый опасный участок этих стремнин находится в дальнем их конце и за пенистые вздымленные волны назван гривой. Скалистый порог, перегораживающий реку на три четверти, бросает

могучий водный поток на правый берег, откуда его вновь отбрасывает на левый, и этот водоворот куда более опасен, чем водоворот Ящичного ущелья.

Как только мы оказались на гриве, «Красавица Юкона» запрыгала, будто забыв о тяжелом грузе: она то почти отрывалась от воды, то глубоко погружалась в провалы между волнами. До сих пор не могу понять, как случилось, что я потерял контроль над лодкой. Боковая струя увлекла корму, и лодка стала поворачиваться бортом поперек течения. Затем мы соскочили в водоворот, хотя тогда я этого не понял. Слоупер сломал второй гребок, и вода снова окатила его с ног до головы.

Учтите, что мы двигались со скоростью скаковой лошади и все эти события заняли вдесятеро меньше времени, чем рассказ о них. Грозя утопить нас, вода со всех сторон хлынула в лодку. «Красавицу Юкона» несло прямо на скалы левого берега, и, хотя я налегал на рулевое весло так, что оно трещало, мне не удавалось повернуть лодку по течению.

С откоса нас пытались сфотографировать, но напрасно: из-за нашей бешеной скорости наблюдателям удавалось схватить лишь картину разъяренной воды да летящие клочья пены.

Берег был угрожающе близок, а лодка все упрямылась. Но тут я наконец сообразил, что борюсь с водоворотом, и мгновенно навалился на весло с противоположной стороны. Лодка подалась и, следуя за направлением потока, повернулась носом против течения. Гибель, казалось, была так близка, что Слоупер выпрыгнул на камень, но, увидев, что мы проскочили буквально в паре дюймов, он снова кувырком свалился в лодку, словно на комету.

Хотя нас по-прежнему увлекал бешеный водоворот, мы вздохнули свободнее. По завершении круга нас опять выбросило на гриву. И на этот раз, проскочив ее, мы благополучно пристали к берегу тихой заводи.

1899

КОРОЛЬ МЭЙЗИ-МЭЙ

Клондайкская история

Уолт Мастерс не очень крупный мальчик, но есть что-то мужественное в его лице, да и сам он, хоть и не знает всякой всячины из того, что известно большинству мальчишек, знает многое такое, чего его сверстники не знают. В жизни ему не доводилось видеть ни

железнодорожного состава, ни лифта, никогда не довелось ему любоваться кукурузным полем, не видел он плуга, коровы, даже курицы, не носил он ботинок, не бывал на пикнике, на вечеринке, не болтал с девчонкой. Но он видел солнце посреди ночи, мощный ледоход на одной из самых могучих рек и игры при северном сиянии -- единственный белый ребенок на тысячи миль морозной пустыни.

Все четырнадцать лет своей жизни Уолт ходит в сапогах из лосяной кожи, продубленных солнцем мокасилах, и он может пойти в становище к индейцам и как взрослый поговорить с мужчинами, выменять у них бусы и ситец на ценные меха. Он умеет без дрожжей и хмеля испечь хлеб, подстрелить с расстояния в триста ярдов лося и целый день за пятьдесят миль гнать упряжку со злыми собаками по снежной тропе.

И в довершение всего у него доброе сердце, он не боится темноты и одиночества. Отец у него настоящий мужчина, сильный и смелый, и Уолт растет таким же.

Родился Уолт за тысячу миль отсюда вниз по Юкону, в фактории за каньоном Рампарт. После смерти матери они с отцом шаг за шагом, от лагеря к лагерю двинулись вверх по реке, пока не обосновались на ручье Мэйзи-Мэй, в районе Клондайка. За год вместе с несколькими старателями они вложили в Мэйзи-Мэй изрядно трудов и времени и здорово настрадались; в ответ ручей только начал открывать свои богатства и вознаграждать людей за тяжелый труд. Однако, прослышав об их находке, туда короткими днями и длинными ночами вскоре стал стекаться посторонний люд, который принес долго работавшим на ручье старателям немало неожиданных огорчений.

Си Хартман отлучился на охоту за лосем, а вернувшись, обнаружил, что его столбики исчезли, а заявка присвоена. Таким же манером потерял свою заявку Джордж Лукенс с братом, стоило им задержаться с ее регистрацией в Доусоне. Такая вот старая история, немало честных золотоискателей пострадали таким образом.

Но отец Уолта с самого начала зарегистрировал свою заявку, поэтому, когда он отправился на несколько дней к Белой реке на поиски кварца, Уолту нечего было бояться. Он сам мог позаботиться о себе, три раза в день сварить еду и последить за порядком в хижине. Более того, он не только сторожил отцову заявку, но согласился понаблюдать и за соседним участком Лорена Холла, отправившегося в Доусон для его регистрации.

Лорен Холл был стар, у него не было собак, поэтому передвигался он крайне медленно. Через какое-то время по реке пришла

весть о том, что он провалился под лед на ручье Розовый Бутон и так здорово поморозил ноги, что пару недель будет не в состоянии передвигаться. Потом Уолту Мастерсу сообщили, что старик Лорен почти поправился и собирается пешком в Доусон, как только сможет.

Уолт, однако, был весьма обеспокоен, потому что из-за просрочки заявку могли в любой момент аннулировать. Дело в том, что на Мэйзи-Мэй нагрянула толпа пришельцев. Ему не понравился их вид, а когда пятеро из них прибыли с великолепными собачьими упряжками и самым легким снаряжением, он догадался, что это они для скорости, и решил проследить за ними. Заперев хижину, он направился за ними вслед, стараясь оставаться незамеченным.

Раньше он их никогда не видел, но был уверен, что это авантюристы, изучавшие все заявки в округе. Уолт пополз за ними по снегу вдоль ручья и увидел, как они меняют столбы: ломают старые и ставят новые.

Вечером — а Уолт не переставал следовать за ними по пятам — они возвратились, распрягли собак и ушли в лагерь, стоявший на расстоянии двух заявок от хижины. Увидев, что они занялись приготовлением обеда, он поспешил домой перекусить и сразу вернулся назад. Он подобрался к ним так близко, что сумел довольно отчетливо расслышать их разговор, а пригнув кустарник, смог кое-что разглядеть. Закончив с едой, они курили, расположившись вокруг костра.

— С ручьем все ясно, ребята, — сказал чернобородый крупный мужчина, по-видимому главарь. — И самое лучшее, что можно сделать, — это отправиться ночью. Собаки тропу найдут, а ночь будет лунная. Что скажете?

— Но будет дикий мороз, — возразил один из группы. — И так уже сорок ниже нуля.

— А ты что, не сможешь прыгнуть с нарт и погреться бегом за собаками? — крикнул ирландец. — Никому не запрещается. В ручье капитала хватит на все Соединенные Штаты! Знаешь, это тот случай, когда побегаешь ради денег! А не побегаешь, так и совсем ничего не получишь, ни шиша!

— Точно, — сказал главарь. — Если доберемся до Доусона и зарегистрируемся, то мы богачи; и мне нет нужды говорить вам про того, кто крался за нами всю дорогу, выслеживал и теперь может поднять тревогу. Сейчас главное — дать передохнуть собакам и гнать как можно быстрее. Что скажете?

По-видимому, сообщники согласились с главарем, потому что Уолт Мастерс не услышал ничего, только позвякивала отмывае-

мая посуда. Присмотревшись, он понял, что главарь изучает какую-то бумагу. Уолт сразу догадался, что это список всех незарегистрированных заявок на Мэйзи-Мэй. Каждый мог получить такой список у приискового комиссара в Доусоне.

— Тридцать две, — сказал главарь, повернувшись к приятелям. — Тридцать две не зарегистрированы, а это тридцать третья. Пошли взглянем на нее. Я видел: кто-то на ней работал, когда мы утром приехали.

Трое ушли с ним, один остался в лагере. Уолт скрытно последовал за ними до самых столбиков Лорена Холла. Один из чужаков присел разводить костер на дне оврага, чтобы оттаять гравий, двое других взялись разжигать огонь на куче смерзшейся породы, чтобы нагреть воды в промывочных тазах, установленных между бревен на раме, которой Лорен Холл пользовался для промывки своего золота.

Вскоре два ведра грязи были подняты наверх, и Уолт увидел, как все нетерпеливо сгрудились вокруг главаря, пока тот промывал добычу. Когда же процесс был завершен, они принялись разглядывать выпавший на дно черный песок с желтыми крупинками золота; и один из них возбужденно кликнул того, что оставался в лагере. Лорен Холл нашел богатую россыпь, но его заявка еще не была зарегистрирована. Было ясно: они намерены ее захватить.

Лежа на снегу, Уолт торопливо решал, что делать. Конечно, он был еще мальчишка, но перед лицом такой несправедливости, грозившей старому инвалиду Лорену Холлу, он чувствовал: что-то нужно предпринять. Он наблюдал, раздумывая, что же делать, пока не увидел, как пришельцы начали ставить новые столбы. Тогда он отполз подальше и кинулся к лагерю авантюристов. Отец его выдвинулся на разведку вместе со своей упряжкой, и мальчик понимал, что без собак не сможет отправиться за семьдесят миль в Доусон.

Прибежав в лагерь, он опытным глазом выбрал самые легкие на ходу нарты и принялся запрягать в них собак. У мошенников было три упряжки, по шесть собак в каждой, и он выбрал десяток лучших. Понимая, как важно иметь хорошего вожака, он попытался выбрать в своре лучшую собаку; но времени у него было в обрез, ибо слышались голоса возвращавшихся мужчин. К моменту, когда упряжка была готова и все прилажено, золотоискатели показались в ста ярдах от тропы, спускавшейся к ручью. Они крикнули ему, но он, не обращая на них внимания, схватил валявшееся на снегу меховое одеяло и запрыгнул в нарты.

— Пошли! Ну, пошли! — закричал он собакам, щелкая над ними бичом.

Собаки натянули постромки и дернули нарты так резво, что едва не сбросили его. Затем они резко завернули к ручью, грозя вывалить седока. У него от испуга перехватило дыхание, однако нарты наконец выровнялись и понеслись вперед. Берег был высок и укрыл его, но он слышал угрожающие вопли мужчин, понял, что они бегут наперерез. Он не смел и представить себе, что произойдет, если они схватят его; с дико колотившимся сердцем, крепко вцепившись в нарты, он напряженно следил за снежным краем берега, мчавшегося сбоку.

Внезапно над этим краем выросла огромная фигура ирландца, который ринулся прямо к его нартам в отчаянной попытке перехватить их, но на миг опоздал. Задетый краем нарт, он был сбит с ног и отброшен в снег. Вывернувшись, он с кошачьим проворством все же ухватился за нарты и потащился на животе, ругаясь на чем свет стоит и грозя парню всеми смертными муками, если тот не остановит собак; но Уолтер стукнул рукояткой бича ему по руке, и ирландец разжал пальцы.

От заявки до Юкона было восемь миль — восемь сильно искривленных миль, потому что ручей, извиваясь, как змея, «сам себя завязывал в узлы», как говорил Джордж Лукенс. Из-за этих петель собаки не могли бежать с хорошей скоростью, а нарты заваливались то влево, то вправо.

Путники, ходившие с поклажей за спиной вверх и вниз по Мэйзи-Мэй, отказывались следовать за всеми поворотами капризного ручья, а сокращали дорогу по узким перемычкам между изгибами его русла. Двое преследователей вернулись в лагерь, чтобы запрячь оставшихся собак, а остальные пустились бегом за Уолтом по этим перемычкам и, прежде чем он разгадал хитрость, почти настигли его.

— Стой! — кричали они ему. — Остановись, или будем стрелять!

Но Уолт лишь яростнее погонял собак и как раз огибал поворот, когда выпущенные из револьвера пули просвистели у него над головой. У следующего поворота бегущие оказались ближе, и пули шлепнулись почти рядом, но тут Мэйзи-Мэй выровнялся и с полмили был прямой как стрела. Теперь собаки мчались с волчьей скоростью, а старатели вскоре устали, перешли на шаг и наконец совсем остановились в ожидании нарт для продолжения погони.

Оглянувшись, Уолт понял, что их намерения не сулят ничего хорошего и скоро они опять пустятся за ним. Поэтому, укутавшись

от жгучего ветра в меховой полог, он растянулся плашмя в пустых нартах и стал изо всех сил погонять собак.

Проскочив между двумя обрывистыми островами, он наконец выехал на могучий Юкон, величественно устремлявшийся на север. С этого берега другой совсем не был виден, и в быстро сгущавшихся сумерках река казалась гигантским снежным морем ледящего безмолвия. Слышались только дыхание собак и мягкое поскрипывание стальных полозьев.

Снег не выпадал уже несколько недель, и оживленное движение по главному руслу так утрамбовало тропу, что лед на ней блестел, словно стекло. Нарты летели легко, и собаки бежали бодро, но Уолт вскоре обнаружил, что ошибся, когда выбирал вожака. Собаки бежали гуськом, но ими нужно было управлять голосом, так как выяснилось, что ведущая совсем не понимает команд на поворот. Вожак то и дело подводил свору слишком близко к краю тропы, нередко заставляя тех, кто бежал за ним, падать в рыхлый снег, и несколько раз он таким образом опрокидывал нарты.

Ветра не было, но на скорости, с которой мчался Уолт, возникал жгучий встречный поток воздуха, и при температуре ниже сорока стужа пробирала его даже сквозь мех и кожу до самых костей. Зная, что, если все время оставаться в нартах, можно замерзнуть до смерти, и будучи наслышан об опыте арктических путешественников, Уолт, всякий раз когда замерзал, укорачивал один из упряжных ремней, хватался за него, прыгивал на снег и бежал рядом с нартами, чтобы согреться. Потом он снова забирался в них и ехал, покуда не ощущал необходимость повторить этот маневр.

Оглядываясь, он мог видеть запряженные восемью собаками нарты преследователей, возникавшие и вновь исчезающие, словно лодка в море, в ледяных торосах. Ирландец с чернобородым то ехали, то по очереди бежали сзади.

Спустилась ночь, но и во тьме Уолтер почти час отчаянно гнал собак. По вине неопытного вожака они постоянно отклонялись от наезженной тропы в рыхлый снег, и в результате нарты тащились на боку и даже вверх полозьями; требовалось много сил, чтобы вернуть их в нормальное положение. Будь у Уолта время, он мог бы все наладить и поправить, но он боялся, как бы авантюристы не подкрались в темноте и не схватили его. Иногда он слышал, как они сердито покрикивают на собак, но, судя по звуку, они продвигались вперед довольно медленно.

Взошедшая луна застала его возле Шестидесятой Мили, до Доусона оставалось всего лишь пятьдесят миль. Но он совсем выбился из сил и с облегчением вздохнул, забравшись в нарты. Враги

едва ползли ярдах в четырехстах позади. На этом расстоянии они и оставались — черное движущееся пятно на белом лоне реки. Как ни старались, они не могли сократить дистанцию, и, как ни старался Уолт, он не мог ее увеличить.

Ему наконец удалось определить настоящего вожака, и он был уверен, что легко ускользнул бы от погони, если бы только ему удалось заменить собаку во главе упряжки. Но это было невозможно, ибо минутная задержка — и при скорости, на которой они шли, аферисты его бы достали.

Когда он, миновав устье ручья Розовый Бутон, выехал на возвышенность, звон пули об лед совсем рядом и донесшийся следом выстрел дали понять Уолту, что по нему начали бить из винтовки. С этого момента, поднимаясь на вершины торосов, он распластывался на дне подпрыгивавших нарт и лежал так, пока сзади не раздавался выстрел, что означало безопасность до новых торосов.

Лежать на поминутно дергающихся и прыгающих нартах невероятно трудно, они вздымаются и ныряют, как лодка под ветром, а каково стрелять при обманчивом лунном свете по цели, находящейся на четырехста ярдов впереди на других движущихся нартах, выкидывающих столь же невообразимые кульбиты! Поэтому не приходится удивляться, что чернобородый в него не попал.

После нескольких часов такой погони, во время которой, вероятно, десятка два пуль просвистели возле него, боеприпасы у преследователей подошли к концу и огонь ослаб. Они стали тщательней прицеливаться, выбирая для стрельбы самые удобные позиции. А он от них медленно, но верно уходил — расстояние между ними возросло до шестисот ярдов.

Перевалив у Индейской реки через гребень гигантских торосов, Уолт Мастерс столкнулся с первой неудачей. Просвистевшая у его уха пуля сразила неопытного вожака. Бедного зверя убили наповал, вся свора сгрудилась вокруг.

В один миг Уолт оказался возле вожака. Перерезав постромки охотничьим ножом, он оттащил в сторону испутившую дух собаку и стал выправлять упряжку.

Оглянувшись, он увидел приближавшиеся нарты, которые мчались со скоростью курьерского поезда. И хотя половина его собак еще не была запряжена, он крикнул: «Пошли!» — и запрыгнул в нарты как раз в тот момент, когда упряжка преследователей почти поравнялась с ним.

Ирландец уже готовился к броску — будучи уверены, что схватят Уолта, авантюристы не стреляли, — когда разъяренный мальчишка, повернувшись к ним с бичом в руке, хлестнул по их лицам.

Преследователи закрыли лица руками, им было не до стрельбы. И прежде чем они опомнились, Уолт соскочил с нарт, поймал на бегу задние ноги ведущей собаки старателей и отбросил ее в сторону, превратив всю упряжку в спутанный клубок, после чего нарты противника перевернулись.

А Уолт уже снова мчался вперед, полозья его нарт весело поскрипывали на ледяных ухабах. То, что казалось бедой, обернулось удачей. Впереди теперь бежал настоящий вожак, знавший законы тропы, и он поскуливал от удовольствия, увлекая своих товарищей вперед.

Ко времени, когда Уолт добрался до ручья Эйнсли, что в семнадцати милях от Доусона, его преследователи совсем пропали из виду, лишь маленькое пятнышко маячило далеко позади. После острова Монте-Кристо Уолт их больше не видел. А у Шведского ручья, едва день посеребрил верхушки сосен, он вкатился в лагерь старого Лорена Холла.

И пока Уолт излагал суть дела, Лорен свернул свои меховые одеяла и подсел в нарты к Уолту. Они позволили собакам бежать медленной рысью, поскольку никаких признаков погони не наблюдалось, и, едва доехали до конторы приискового комиссара в Доусоне, мальчика, крепившегося из последних сил, сморил сон.

За все, что Уолт Мастерс совершил той ночью, им всерьез гордятся люди на Юконе. И в разговорах всегда называют его не иначе как королем Мэйзи-Мэй.

1899

ОТВАГА И УПОРСТВО

Ф. Т. Барнуму¹ приписывается изобретение словечка «зациклиться» — сильного синонима к слову «упереться». Но человек упорный, чтобы добиться успеха, должен обладать еще и другим важным качеством — отвагой. Тот, кто лишен ее, не сможет дойти до цели, его решимость испарится перед лицом препятствий, для преодоления которых нужно мужество.

¹ Финсас Тэйлор *Барнум* (1810–1891) — крупнейший деятель американского шоу-бизнеса XIX в., скандально знаменитый антрепренер, авантюрист и мистификатор; в 1871 г. в Бруклине основал передвижное шоу, являвшее собой причудливую смесь цирка, зверинца и театра уродцев и претенциозно именовавшееся его создателем «величайшим зрелищем на земле».

Нижеследующая история о нестигаемой верности избранной цели, верности, проявленной в неимоверных трудностях и опасностях, правдива, ибо я сам лично убедился в достоверности основных ее фактов. Некоторые детали, впрочем, я знаю со слов врача, разъезжавшего по юконским землям в составе отряда Северо-Западной конной полиции, другие подробности узнал от белого торговца, работавшего в Шестидесятой Миле. Перед вами рассказ о человеке, который в полном риска ледовом путешествии арктической зимой совершил немыслимое. К счастью, его тяжелое испытание увенчалось успехом.

Осенью 1897 года из города Доусона, где отчаянно не хватало продовольствия, разнесся тревожный крик об угрозе сурового голода. Малодушные рудокопы повернули прочь от соблазнительных золотоносных россыпей. Партнеры, у которых провианта оставалось только на одного, тянули соломинки, чтобы решить, кто останется, а кто уходит. Граждане Канады и американские пришлецы обратились за помощью к своим правительствам.

В октябре с последней водой, состоявшей в основном из ледяного месива, произошел настоящий исход голодавших вниз по реке, к Форт-Юкону. Цена собак подскочила до трехсот долларов, а их кормежка — до доллара за фунт. Муки было не достать даже по сто пятьдесят долларов за центнер. С первым ледоставом, в ноябре, по реке к цивилизации и спасению устремились новые толпы беглецов.

Паника, существенно сократив число голодных ртов, оказалась единственным, что спасало Доусон от более суровой зимы. Так или иначе оставшиеся золотоискатели надеялись продержаться, а те, что сбежали в дни паники, привезли к Соленой Воде страшные рассказы. Потом установилась зима, и все связи были прерваны.

Однако среди множества повернувших к югу путников на тяжелойшей пятисотмильной тропе оказался один человек, шедший на север. Это был голландец, плохо понимавший английский язык, а говоривший на нем и того хуже. Снаряжение у него было заметно беднее, чем у тех, кто шел ему навстречу, а ведь он направлялся в самое сердце голодного края, тогда как они оттуда бежали. Ему с собакой провианта едва-едва могло хватить до Доусона. Бульдог у него был короткошерстый — ездовой собаки хуже в этих студеных землях не найти.

Беженцы посмеивались, увидев его бедное снаряжение. Не сумев объяснить словами, они красноречивыми жестами пытались дать понять ему, сколь скуден его провиант. И поскольку их усилия не вызывали должной реакции, они рисовали ему страшные

картины голода и смерти. Но он оставался невозмутим. Тогда, прекратив свои мрачные шутки, они стали умолять его, требовать, чтобы он повернул назад. Однако он упрямо двигал вперед.

А как же иначе? Ведь он шел на Клондайк и теперь был на верном пути. До этого он уже миновал Стикин¹, в коварных водах которого потерял свое снаряжение и трех товарищей, потом добрался до Сент-Майкла, но прибыл туда, когда Юкон уже замерз, и сбежал с последним пароходом как раз перед тем, как закрылось Баренцево море; деньги у него на исходе, продуктов на несколько недель — все это так, но правда и то, что в Штатах у него жена с детьми и он до конца будущего года должен отправить им с севера этот желтый песок.

А кроме того, он, как настоящий мужчина, отправился на Клондайк и должен туда дойти. Это была третья его попытка, на этот раз через грозный Чилкутский перевал и в разгар зимы.

Проделав невероятно тяжелый путь, он добрался до реки Большой Лосось, что в двухстах пятидесяти милях от Чилкута, и столько же оставалось ему до Доусона. В этом месте его задержал отряд Северо-Западной конной полиции. Полицейские имели строгий приказ не пропускать тех, у кого меньше тысячи фунтов провизии. Поскольку у него едва набиралось пятьдесят фунтов, то его завернули обратно. Один из полицейских, знавший нидерландский язык, объяснил ужасные последствия его затей.

Все прочие, кого они завернули, бодро пошли назад. А этот человек был из другого теста. Дважды природа пыталась ставить ему препоны, а теперь, когда он уже на полпути к цели, его не пускают люди. И он сделал вид, что поворачивает. Но той же ночью по глубокому снегу пробился к реке, перешел ее и затем снова вернулся на тропу, гораздо ниже лагеря.

Потом его встречали на реке Малый Лосось, когда другой полицейский патруль увидел, как изможденный человек с бульдогом бредет, прихрамывая, вниз по реке. Решив, что верхняя застава пропустила его, и ничего не заподозрив, они радушно пригласили его к огню передохнуть и погреться, но он испуганно захромал дальше.

Температура между тем все падала и остановилась где-то между пятьюдесятью и шестьюдесятью градусами ниже нуля, что соответствовало восьмидесяти-девяноста градусам мороза. Голландец обморозил ногу, но продолжал продвигаться вперед, обходя

¹ *Стикин* — крупная река на северо-западе Британской Колумбии и юго-востоке Аляски, протяженностью более 600 км; по ней в 1897–1898 гг. пролегал еще один оживленный маршрут старателей к клондайкским приискам.

беженцев, молодых, с обмороженными лицами и заболевших цингой — изгосв этого края; но день за днем упорно он брел к своей цели, на север.

У Форт-Селкерка он все же слег, его обмороженная нога так разболелась, что он больше не мог идти. Однако пролежал он там всего два дня, до прибытия врача с Большого Лосося, который перед этим просхал сто миль вниз по реке на правительственной упряжке, чтобы прооперировать щеки у одного бедного парня, пытавшегося выбраться из этих краев. Сделав дело, врач прибыл в Форт-Селкерк, где предполагал дожждаться, когда его подберет полицейский отряд.

Он обследовал голландца и перевязал ему ногу, с которой начала слезать кожа, обнажая мокнувшую и загноившуюся рану на подошве, размером с кулак. Врач объяснил жестами, что ждет полицию. Пострадавшему этого было достаточно. Ведь полиция отошлет его назад! Располозовав одеяло и накрутив полосу на полосу, он соорудил на ноге огромный мокасина величиной с ведро и той же ночью пустился со своим бульдогом по реке в Доусон, до которого оставалось сто семьдесят пять миль.

Про невероятные страдания, причиненные этому человеку стужей, переутомлением, голодом и травмой ноги, можно лишь догадываться. Все было бы иначе, имей он товарищей, но он страдал один и опасности этой ледовой прогулки переносил без надежды на помощь в случае несчастья.

При подходе к реке Стюарт он совсем выдохся, но его настойчивость и упорство, казалось, не имели границ. Им двигал страх быть остановленным полицией и отосланным назад, а он был из тех, кому неведомо поражение. Но полицейским со всем их отличным снаряжением, с собаками и надежными нартами так и не удалось его достать. Правда, у Шестидесятой Мили он, казалось, готов был капитулировать, потому что его бульдог совсем изнемог и ему самому нужна была еда. Но белый торговец из фактории купил у него собаку за двести долларов, и ему хватило продуктов до самого Доусона, до которого оставалось всего-то пятьдесят миль.

Едва достигнув цели, он устроился на лесопилку за пятнадцать долларов в день и потихоньку, но не без успеха лечил ступню, чтобы начать разведку. Нет, совсем не легкое дело работать в мороз целый день на открытом воздухе. А он стойко трудился всю зиму, пока другие били баклуши в хижинах и проклинали злую судьбу и всю эту страну в целом. Он же заработал себе не только на пропитание, но и на горняцкое снаряжение, а кроме того, солидную часть зарплаты послал в Штаты жене и детям.

ЭКОНОМИКА КЛОНДАЙКА

По весне, пока бóльшая часть золотоискателей вытряхивала и протирала свои мокасины, он принял участие в разведке на террасах у Французского холма. А потом те, кто проходил мимо его заявки, могли увидеть довольного собой мужчину, увлеченного промывкой золотого песка.

Вряд ли найдем мы лучший штрих для завершения нашей истории об упорстве в достижении поставленной цели, чем известие о том, что первым шагом его было разыскать торговца из Шестидесятой Мили и выкупить бульдога, который был ему верным товарищем в дни тягостных испытаний.

1899, опубл. 1900

ЭКОНОМИКА КЛОНДАЙКА

Ныне, когда лихорадочные попытки золотоискателей как можно скорее добраться до северного эльдорадо¹ остались в прошлом, можно попробовать трезво оценить, каковы были ожидания, перспективы и каков реальный результат. Кто извлек из этого выгоду? Кто оказался в проигрыше? Сколько всего золота добыто? Сколько всего средств было на это затрачено? И наконец, каков результат столь грандиозных усилий, такой невероятной концентрации капитала и труда здесь, в одном из тех районов земли, которые прежде никем не осваивались?

В 1897 году, в период между серединой июля и 1 сентября, никак не меньше двадцати пяти тысяч аргонавтов предприняли попытку достичь долины Юкона. Большинство из них потерпело неудачу: одним, не сумевшим преодолеть перевалы Чилкут и Уайт, пришлось повернуть назад в верховьях фьорда Линн-Кэнел, другие, двигавшиеся со стороны Сент-Майкла, потерпели неудачу из-за раннего прихода зимы и, соответственно, прекращения навигации на Юконе. Весной 1898 года в сторону Клондайка двинулись разными путями еще сто тысяч человек, причем основные маршруты пролегали через Скагуэй и Дайю, либо по реке Стикин (от форта Врангель)², либо по «чисто канадскому пути» через Эдмон-

¹ *Эльдорадо* — здесь: фигуральное обозначение сказочно богатой страны.

² *Форт Врангель* — имеется в виду форт Стикин (ныне — город Врангель) на юго-востоке Аляски, в восточной оконечности острова Врангель архипелага Александра.

тон¹, либо же по воде через Берингово море. Старожилы предупреждали всех не раз и не два: даже не мечтайте отправляться на Север, не имея с собой хотя бы шестисот долларов; чем больше, тем лучше; там и тысяча долларов не будет лишней.

Отсутствие необходимых средств, однако, не испугало кое-кого из самых отчаянных голов, но в целом у каждого из наших пингвинов в поясе было зашито по крайней мере шестьсот долларов. Тогда, если считать шестьсот долларов справедливой оценкой расходов на одного человека, начальные затраты ста двадцати пяти тысяч золотоискателей составили семьдесят пять миллионов долларов. При этом совершенно не важно, все они смогли добраться до нужного места или нет: ведь эти семьдесят пять миллионов ушли только на попытку достичь Клондайка. Железнодорожные и пароходные компании, а также города у залива Пьюджет, в которых золотоискатели закупали одежду и необходимый инвентарь, вероятно, получили тридцать пять миллионов долларов; остальная часть суммы была истрачена во время долгого пути на Север. Но большинство тех, кто все-таки пробился к цели, едва смогли наскрести десять долларов, чтобы оплатить лицензию на проведение горнорудных работ; и очень немногие из них были способны заплатить еще пятнадцать долларов за оформление первого застолбленного участка; у многих не было уже ни гроша за душой.

Компании, занимавшиеся перевозкой и снаряжением золотоискателей, несомненно получили прибыль, но вот вопрос: вернул ли Юкон золотоискателям хотя бы то, что они потратили, чтобы туда попасть? Ответ на этот вопрос можно получить, вкратце обобрав историю золотодобычи на Клондайке. Осенью 1896 года первое известие о золотых россыпях, найденных Маккормаком², разнеслось по Юкону и пересекло канадско-американскую границу, взбудоражив старателей в ближайших поселках на Аляске — Сороковой Миле³ и Серкл-Сити. В результате множество старателей хлыну-

¹ *Эдмонтон* — город в провинции Альберта (с 1905 г. — ее административный центр) на западе Канады; торговый пост Компании Гудзонова залива, основан в 1795 г., получил официальный статус города в 1892 г. В описываемые времена — крупный центр торговли пушниной в регионе.

² Так Лондон в ряде своих сочинений называет — вслед за некоторыми ранними описаниями событий клондайкской золотой лихорадки — Джорджа Кармака (см. примеч. на с. 102). В других, более поздних произведениях писателя — например, в очерке «Старатели Севера» и романе «Время-не-ждет» — Кармак фигурирует под своей истинной фамилией.

³ Ошибка Лондона: Сороковая Миля находится не на Аляске, а в территории Юкон.

до оттуда на канадскую территорию, чтобы застолбить участки по берегам ручьев Эльдорадо, Бонанза и Ханкер. Зимой новости об этом достигли Солёной Воды и цивилизованного мира. Однако они все же не вызвали воодушевления и не спровоцировали массовой золотой лихорадки. Мир еще не обратил на все это должного внимания.

Летом 1897 года толпы золотоискателей двинулись с трех упомянутых ручьев через водораздел за Эльдорадо и застолбили участки вдоль притока Индейской реки — ручья Доминион. В то же самое время первые партии добытого золота достигли тихоокеанского побережья, и газеты посеяли первые семена будущей золотой лихорадки. В результате за летний период, а также ранней осенью были спешно застолблены участки на ручьях Серный, Медвежий и Золотой Поток — и, разумеется, на многих других, которые с той поры доказали свою полную бесперспективность. Несмотря на все сообщения об удивительных успехах и о появившихся повсеместно разведочных скважинах, новых золотоносных ручьев на Клондайке так и не было обнаружено — кроме разве что малого количества заявок на россыпи. И что нужно обязательно отметить, золото на всех вышеназванных ручьях было открыто еще до приезда тех, кто ринулся в эти края с разных концов света.

Таким образом, всем, кто пустился в погоню за золотом осенью 1897-го и весной 1898 года, оказался закрыт доступ как раз на те ручьи, которые могли бы компенсировать им по крайней мере расходы на дорогу... Тут записной домосед наверняка сразу же спросит: а что, разве по-другому их нельзя было компенсировать? А как же террасные россыпи и еще — «отводы»?

Давайте сначала рассмотрим «россыпь». Такой участок находится на склоне холма, в отличие от участков по берегам ручья. Золото на террасе Скукум было обнаружено до наплыва людей со склона, а вслед за этим были открыты террасные россыпи на Французском холме и Золотом холме, расположенных между ручьями Скукум и Эльдорадо. Лишь в этих последних открытиях могли бы поучаствовать вновь прибывшие золотоискатели. Однако тут вмешались два обстоятельства, которые ограничили их участие. Во-первых, лишь немногие участки на этих холмах богаты золотом, и ни на одном из них его нельзя было добыть больше чем на сто тысяч долларов. Во-вторых, эти террасы были в самом центре старых разработок, где совсем неподалеку, буквально в пяти минутах ходьбы, работали старожилы. Если бы новичкам удалось получить право на разработку хотя бы одного участка из каждых двадцати,

которые они успели застолбить, им еще могло бы повезти; но поскольку ни на одном из оформленных ими участков не оказалось выходов золотой жилы, то и количество добытого золотого песка практически равнялось нулю.

Теперь насчет «отводов»¹. Зимой 1896 года дела у новичков, арендовавших участки, шли успешно. Правда, в тот год сложились благоприятные условия — совсем не те, что следующей зимой. Значение клондайкских находок еще не было должным образом оценено, стоимость золота, добытого при промывке породы, не определена, к тому же не хватало съестных припасов, а спрос на работников сильно превышал предложение. В этих обстоятельствах новоприбывшим старателям было нетрудно получить в аренду прибыльные отводы. Но в 1897 году таких благоприятных условий уже не было. Владельцы успели узнать истинную стоимость своих владений, припасов было вдоволь, да и рынок рабочей силы оказался полностью насыщен. Теперь никто из обладателей рудных разработок не был настолько опрометчив, чтобы отдать участок в арендный отвод кому-то, кто в результате получит с него пятьдесят тысяч долларов, вместо того чтобы нанять этого «кого-то» в качестве работника на тот же срок за две тысячи долларов. Тем не менее многие новички, чье невежество способно вызвать лишь жалость, взяв такие участки в аренду и используя собственное оборудование и съестные припасы, тяжко трудились там целую зиму и, только когда в теплое время года начиналась промывка, вдруг понимали, что было бы, пожалуй, выгоднее всю зиму просидеть без дела в своих хижинах. Факт остается фактом: сотни старателей-арендаторов, обосновавшихся на зиму на разных ручьях и накопивших к лету отвалы руды, даже не стали пропускать их через промывочные желоба. Очевидно, что золотоискателям, потратившим семьдесят пять миллионов долларов, не удалось заработать в долине Юкона эквивалентную сумму.

Как говорил один бывалый старатель, на каждый доллар, который будет добыт из земли, нужно два доллара в нее закопать. И Клондайк не стал исключением, а значит, теперь можно подвести поразительный итог, приняв во внимание размер расходов, затраченные усилия и полученное в результате вознаграждение. Сле-

¹ Многие новички предпочитали не искать золото в неисследованных местах, а взять в аренду на год часть уже застолбленного участка на берегу ручья — «отвод». Разрабатывая его, они могли рассчитывать, в зависимости от договоренности с владельцем участка, на получение 50–75% намытого золота. — *Примеч. пер.*

дует учесть, с одной стороны, реальные затраты, с другой — реально добытое золото.

В пору золотой лихорадки множество транспортных и торговых компаний создавалось с невероятной предприимчивостью, которая была под стать разве что уровню невежества их организаторов, и в итоге они потеряли по несколько миллионов долларов из-за кораблекрушений на морских и речных путях, а также из-за порчи и утраты товаров. Затраты людей, которые жили на северных территориях до начала золотой лихорадки, — владельцев приисков, посредников и старателей — следует занести в отдельную строку расходов; аналогичным образом стоит учесть и расходы канадского и американского правительств. Однако, даже если не принимать во внимание эти и многие другие, не столь существенные, составляющие баланса активов и пассивов, итог все равно окажется весьма впечатляющим. Вообразите только этих людей — сто двадцать пять тысяч золотоискателей, каждый из которых потратил в среднем целый год своей жизни на то, чтобы добраться до Клондайка или хотя бы попытаться попасть туда! Если принять во внимание выпавшие на их долю лишения и невероятно тяжелый труд, то поденная оплата размером в четыре доллара покажется ничтожной. В цивилизованной стране любой из них отказался бы от той работы, которую они за такие деньги вынуждены были выполнять на Севере. Допустим, у них за год было шестьдесят пять нерабочих дней. Все равно — усилия, которые приложили в течение года эти сто двадцать пять тысяч искателей счастья, в совокупности стоят сто пятьдесят миллионов долларов. Если прибавить к этому семьдесят пять миллионов долларов наличными, которые все они вместе выложили из своего кармана, чтобы попасть на Клондайк, то в расходной части общего баланса будет сумма, равная двумстам двадцати пяти миллионам долларов — или, округляя, двести двадцать миллионов долларов.

Другую часть подводимого нами баланса вполне нетрудно отобразить. К весне 1898 года было намыто золота на восемь миллионов долларов; к весне 1899 года — еще на четырнадцать миллионов. Правда, полной отчетности за прошлый, 1899 год еще нет, и последнее число представляет собой лишь приблизительную оценку, допускающую прирост в четыре миллиона долларов; но следует также учитывать, что с тех пор не было открыто ни одного нового месторождения. Цифры эти говорят сами за себя: двести двадцать миллионов долларов было затрачено ради того, чтобы извлечь из недр драгоценного металла на сумму в двадцать два миллиона...

Подобный итог мог бы показаться пессимистичным, если бы не окончательный результат, которого можно ожидать с большой вероятностью. Хотя столь внезапное и грандиозное приложение сил и энергии оказалось катастрофичным для всех, кто оказался в него вовлечен, оно принесло бесценную пользу долине Юкона и всем тем, кто останется здесь жить и кто позже еще приедет в эти края.

Самым серьезным препятствием, больше, чем что-либо другое, тормозившим развитие региона, была, пожалуй, нехватка продовольствия. С момента появления первого исследователя этой территории и вплоть до зимы 1897 года включительно всем первопроходцам приходилось бороться с хроническим голодом. Впрочем, на сегодня нехватка продовольствия в целом — удел прошлого. Еще в 1874 году Джордж Холт первым из белых людей преодолел Береговой хребет, проникнув в поисках золота вглубь этой территории¹. В 1880 году Эдвард Бин возглавил партию из двадцати пяти старателей, прошедших от Ситки до реки Хуталинкава, и после нее небольшие группы золотоискателей постоянно проникали в долину Юкона. Однако всем им приходилось рассчитывать только на себя и на те запасы продовольствия, которые они доставляли туда сами крайне примитивными способами. Соответственно, не могло и речи идти о проведении основательных поисковых работ, поскольку из-за нехватки продуктов питания старателям постоянно приходилось отправляться назад, к берегу океана. В конце концов Коммерческая компания Аляски, помимо поддержания собственных факторий, разбросанных вдоль реки, начала завозить провиант для продажи его тем старателям, которые хотели перезимовать на Юконе. Однако на зимовку оставалось столько старателей, что дефицит продуктов вновь стал неизбежным. Чем больше пароходов завозило продукты, тем больше золотоискателей устремлялось в эти места через перевалы, чтобы остаться на зиму, и в итоге спрос всегда опережал предложение. Каждую зиму старателям приходилось жить впроголодь, но каждую весну, когда ожидалось прибытие новых, дополнительных пароходов, появлялись все новые и новые толпы новичков.

Однако ныне нехватка продовольствия в этих краях уходит в прошлое. Благодаря клондайкской золотой лихорадке по Юкону теперь плавают сотни пароходов — до самых верховьев реки и озер;

¹ *Джордж Холт* (ум. 1885) — американский путешественник, первым из белых людей проникший в сопровождении нескольких индейцев через перевал Чилкут к верховьям Юкона (по разным данным, в 1872, 1874, 1875 либо 1878 г.).

вдоль Ящичного ущелья и порогов Белой Лошади, где невозможно провести суда, уложены рельсовые пути, а от Скагуэя, с берега океана, через перевал Уайт уже построена железная дорога до того места, где начинается пароходное сообщение на озере Беннет.

Из-за оттока людей, вызванного окончанием золотой лихорадки, транспортных средств здесь теперь окажется куда больше, нежели их требуется для этой территории. Больших прибылей уже больше не получишь, поэтому функционировать здесь смогут лишь самые эффективные компании, располагающие наиболее совершенными средствами. Условия жизни будут приходить в норму, и Клондайк начнет наконец развиваться по-настоящему. Если предметы первой необходимости и предметы роскоши будут иметься в больших количествах и притом окажутся достаточно недороги, то благодаря ввозу машин и механизмов, которые удешевят одни виды деятельности и сделают возможными многие другие, благодаря наличию современных средств передвижения и быстрого сообщения между этой территорией и внешним миром (равно как и между ее внутренними частями) ресурсы долины Юкона можно будет разведывать и разрабатывать последовательно и по-деловому.

В условиях нормальной стоимости жизни станет возможно существовать на скромную зарплату. В этом случае рабочие из стран Старого Света не преминут поскорее направиться сюда, покинув прежние, сильно перенасыщенные рынки рабочей силы. Это в свою очередь позволит привлекать значительную часть неиспользуемого сегодня капитала, чтобы инвестировать его здесь. Так, на реке Белой, в восьмидесяти милях к югу от Доусона, предстоит освоить крупное месторождение меди. Уголь, который так нужен для освоения этой территории, уже найден в нескольких местах на Юконе — от «домов Маккормака», что выше порогов Пяти Пальцев, до Рампарт-Сити и реки Коюкук на Аляске. Нет сомнений, что в конце концов здесь начнут добывать железо, и так же уверенно можно прогнозировать, что будущее золотодобычи — в разработке кварцевых жил.

Что касается исчерпанности здешних золотых приисков, их никак нельзя считать бесперспективными. Вполне правомерно предположить, что будут открыты новые золотоносные месторождения, однако, помимо золота, представляется выгодным и многое другое. Хотя существует очень мало «доходных» ручьев, нужно понимать, что при прежней дороговизне всего и вся никто не считал «доходной» возможность зарабатывать менее десяти долларов в день на человека. Но как только мешок муки стали продавать не за пятьдесят, а за один доллар, и все остальное — в той же пропор-

ции, стало очевидно, насколько сильное изменение способна выдержать система тарифных ставок. В Калифорнии песок с содержанием золота стоимостью пять центов на кубический ярд считается доходным; а на Клондайке песок, дающий менее десяти долларов при том же объеме, даже не начинали промывать ввиду его «нерентабельности». Другими словами, прежние условия не позволяли на Клондайке промывать породу, если она не была хотя бы в двести раз богаче, чем на приисках Калифорнии. Однако вскоре все это изменится. В долине Юкона имеются несметные количества подобного песка с меньшим содержанием золота, и предприимчивые умы вкупе с необходимым капиталом неизбежно найдут способ использовать их.

Итак, хотя многие потерпели здесь поражение, мир в целом ничего не проиграл из-за Клондайка. Новый Клондайк, Клондайк будущего, явит собой разительный контраст с Клондайком прошлого. Естественные преграды будут убраны или преодолены, примитивные способы добычи отменены, а лишения, вызванные тяжким трудом и трудностями сообщения, сведутся к минимуму. Будет наведен порядок в проведении поисково-разведочных работ и в развитии транспорта. Уйдет в прошлое бездумная трата сил и энергии, бессистемное ведение дел. Место колониста-переселенца займет труженик-рабочий, место старателя — горный инженер, вместо погонщика собак появится машинист, а вместо биржевика-афериста — степенный, надежный современный бизнесмен; в руки именно таких людей и будет вверено будущее Клондайка.

1899, опубл. 1900

ХАСКИ — СЕВЕРНАЯ ЕЗДОВАЯ СОБАКА

Вся шея, от головы до плеч, — единая масса взъерошенной, вздыбленной шерсти; уши резко заострены, морда удлиненная, пасть оскалена, с клыков капает слюна; не лает отрывисто, а скорее подвывает; внешне похож на волка, а когда рассвирепеет, вид у него страшный — таков хаски, порода северных ездовых собак, помесь волка и собаки. О Клондайке сказано уже многое, а вот об этих поразительных животных, благодаря которым с самого начала стало возможно существовать в этом ледяном эльдорадо, говорилось разве что вскользь. Такое небрежение возникло вовсе не потому, что они — лишь покорные слуги хозяина, то бишь человека. Они отнюдь не покорны, что лишь подтверждает их дикое про-

исхождение. Их можно заставить подчиниться, но только побоями, и они все равно ощерятся и будут грозно рычать, выражая свою ненависть. Если хаски держать впроголодь, чтобы довести его этим до мнимой покорности, он может неожиданно вонзить зубы в горло кого-то из своих собратьев и погибнуть, растерзанный другими псами. Хаски, вероятно, потому уделялось мало внимания, что интересы людей были постоянно устремлены на природные ископаемые или же на особенности жизни общества в этих далеких северных землях.

А между тем хаски чрезвычайно интересны. С точки зрения выносливости не найдется лучшей породы, возникшей в результате естественного отбора, — и не ищите! Хаски — тот самый вид, что появился на свет и был выпестован суровыми условиями жизни. Выживают только самые приспособленные виды — в результате борьбы за существование, за время которой сменяются тысячи тысяч поколений. И хаски прекрасно приспособлены к условиям Дальнего Севера. Его предков одомашнили коренные жители этих мест — сурового, неприветливого края; поэтому дикие волки для хаски — не отдаленные прародители, а сплошь и рядом прямые предки.

На Севере говорят, что править собачьей упряжкой способен лишь тот, кто умеет изрыгать крепкие выражения и проклятия по крайней мере на двух языках — помимо того, что был впитан с молоком матери... В сущности, каюр, погонщик собачьей упряжки, сродни армейскому возничему. Ведь мулы упрямы, у них случаются проблески хитрости; а вот хаски скорее можно назвать существом упрямым, исполненным коварства и изворотливости, однако прежде всего способным к дедуктивному мышлению. Хаски безошибочно связывает причину и следствие. Он также талантливый лицедей, способный скрывать свои самые гнусные намерения под невинным обликом агнца. В прежние времена, еще до открытия золота на Клондайке, возчики, переправлявшие грузы с продовольствием из Серкл-Сити на Березовую реку, за доставку бекона брали обычно на десять центов за фунт больше, чем за любую другую поклажу. И тем не менее ответственность оказывалась столь велика, что даже такую сделку они считали для себя невыгодной.

Никто из белых людей так и не сумел придумать, как надежно привязывать хаски. Ведь веревка или ремень способны устоять под его острыми зубами в лучшем случае несколько минут. А вот индейцы усилиями многих поколений в конце концов выработали единственно возможный метод. Индеец привязывает свою собаку с помощью палки. Один конец жерди прикрепляют как можно бли-

же к шее хаски, так, чтобы собака не могла зубами дотянуться до ремня. Другой конец крепится еще одним ремнем к колу, который прочно вбит в землю. Так хаски не сможет освободиться от привязи на своем конце, а мешающая ему жердь не позволяет достать до другого ее конца. Очень часто можно видеть, как это животное пробивает лед в проруби, подсакивая и всем весом падая на передние лапы. Хаски нет равных в умении воровать съестное, и обитатели Клондайка, обожающие травить всевозможные байки, не могут отказать себе в удовольствии поведать об одном псе, который, украв банку сгущенки, обменял ее на приличный кусок бекона в другом лагере, где как раз закончилось молоко. Притом не приходится сомневаться, что хаски способен самостоятельно вскрыть банку со сгущенным молоком и извлечь ее содержимое.

Летом, когда снега и льда нет и люди начинают передвигаться по рекам на каноэ и плоскодонках с шестом, хаски приходится кормиться самим. Ведь они в это время года не работают, так зачем же их кормить? Соответственно, они делаются великолепными «санитарами», поскольку питаются падалью и таким образом совершают чудеса человеколюбия, улучшая условия существования людей. Ничто не ускользнет от их внимания. Хаски ради костного мозга разгрызут любую кость; а любую консервную банку они вылизут изнутри дочиستا, до полного блеска. Они великолепные рыбаки и во время хода лосося на нерест никогда не бывают голодны. Этот обычай — предоставлять хаски самим заботиться о себе — создал на Севере своеобразную поведенческую этику. Если человек украдет что-то съестное, его застрелят, притом безо всякой жалости. С собаками дело иное. Даже если пес пойман с поличным, когда заглатывал последний шмат вашего бекона, стрелять в него не следует. Иначе его владелец потребует за него полную стоимость — ведь это тягловое животное. Обычно эту сумму определяют на общем собрании старателей. Причем она весьма солидна: ездовые псы стоят от ста до пятисот долларов, а в трудные времена цена доходит до тысячи.

Хаски — великолепные путешественники. Возвращаясь домой налегке, каюры, доставившие грузы из Серкл-Сити, считают пустяком перегон в семьдесят или восемьдесят миль. Какими бы свирепыми ни были хаски, между ними и их хозяевами зачастую все же возникают самые что ни на есть близкие отношения, и, когда у кого-то из местных жителей есть хороший пес или отличная собачья упряжка, хозяин не преминет похвастаться. В анналах Дальнего Севера можно найти историю про одного каюра, который по-

ставил на кон тысячу долларов, утверждая, что его любимый хаски сможет сдвинуть с места на ровной дороге груз весом в тысячу фунтов. Но стальные полозья неподвижных нарт быстро примерзают к снегу, а каюр, по условиям пари, не имел права даже стронуть нарту с места. Правда, было оговорено, что собаке дадут три попытки. Каждый старатель отсыпал порцию золотого песка — одни ставили на то, что хаски справится с задачей, другие, что не справится: и вот в день, когда было назначено испытание, они явились все скопом. Собаку запрягли в груженные нарт, все было готово. «Правь!» — скомандовал владелец собаки, стоявший в отдалении. Пес послушно потянул вправо, сильно, всем своим весом. «Хо!» — раздалась новая команда, и точно такой же маневр был совершен в левую сторону — в результате нарт чуть-чуть стронулись с места. А потом каюр рявкнул свое «Н-ну!» — это по-здешнему, вместо обычного «Пошел!», как в других местах. Пес, чуть повизгивая, впиваясь когтями в мерзлую поверхность дороги, до предела напряг все мускулы, работая лапами как бешеный. И вот, отзываясь на это чудовищное напряжение сил, нарт медленно-медленно поехали, и пес даже смог протащить их на расстояние в несколько длин. Попробовал бы кто-нибудь из людей сотворить такое чудо! Конечно, это был совершенно невероятный пес, но ведь живых существ зачастую оценивают по их исключительным достижениям.

Когда псы дерутся, сполна проявляются волчьи черты их натуры. Пока два соперника еще на ногах, остальные в поединок не вмешиваются: хаски лишь собираются вокруг дерущихся, наблюдая за происходящим с большим интересом. Однако они готовы ввязаться в драку, едва один из соперников даст слабину. Стоит ему упасть, как вся стая бросается на него и в мгновение ока разрывает на куски. Больше всего собак погибает именно от этого, а не по какой-либо иной причине.

Наиболее отличительная черта хаски — то, как они воют. Их вой нельзя сравнить ни с каким другим звуком на суше или на море. Когда мороз крепчает и в небесах простираются холодные сполохи северного сияния, хаски возносят к небу, в глубину полярной ночи, всю свою неизбывную тоску. Эти надрывные, рыдающие звуки летят ввысь, словно стенания потерянных, измученных душ, а когда тысяча ездовых собак хором подхватывает их, может показаться, будто крыша хижины провалилась внутрь и разверзся ад. Никто из людей, впервые услышавших этот вой, не в состоянии остаться бесстрастным, ощущая пробегающие по спине волны ужаса. Некий джентльмен, литератор, чьи стихи, между прочим, хвалил

сам Россетти¹, но чье имя мы не станем называть здесь, приехал на Клондайк во время золотой лихорадки осенью 1897 года. В лодке вместе с ним был его компаньон, а также их жены. По всему Юкону им рассказывали чудовищные истории о массовом голоде, который как раз тогда случился в Доусоне. Жители Клондайка не только обожают травить всяческие небылицы, но и умеют красочно расписать все в невероятных деталях, так что эти господа, поверив кошмарным рассказам, приготовились защищать свои припасы до последней капли крови. К Доусону же, на их несчастье, они подплывали ночью. Они знали, что уже совсем скоро достигнут цели, а потому смотрели в оба. И тут из-за речного поворота до них вдруг донесся еле слышный вопль, похожий на стенание. Они напрягли слух, и к этому воплю добавилось множество других, которые более всего напоминали стоны умиравших женщин, детей и даже сильных мужчин. Наши путешественники принялись обсуждать, как им быть дальше. Ведь там, в городе, явно царит жуткий голод, и несомненно, их там мигом прикончат в отчаянных, безумных попытках завладеть их припасами. Объятые паническим страхом, они схватились за весла и стали что было мочи выгребать на отмель, так что попали в Клондайк-Сити, но и тамошние жители не могли убедить их, что эти жуткие звуки — всего лишь обычные ночные хоры хаски. А жены не позволили им продолжить путешествие в Доусон, пока тот джентльмен, чьи стихи хвалил сам Россетти, не отправился туда пешком и лично не провел требуемых изысканий.

1900

ДО САМОЙ СМЕРТИ

Быть может, это было следствием простого совпадения, а может быть, и впрямь существуют какие-то невообразимые связи между живыми и мертвыми, а может быть, Бэт Морганстон интуитивно предчувствовал будущее, — но только он внезапно повернулся к Фроне Пэйн и спросил:

— До самой смерти?

Фрона Пэйн на мгновение растерялась. Ее простоватая натура не позволяла ей понять всю силу любви сильного мужчины, для

¹ Данте Габриэль *Россетти* (1828–1882) — английский поэт, переводчик, художник, один из основателей Прерафаэлитского братства.

таких вещей в ее легкомысленной головке не было места. Однако она все-таки достаточно знала мужчину, чтобы преодолеть желание улыбнуться, поэтому взглянула на него серьезными детскими глазами и, положив руку на могучее плечо своего друга, ответила:

До самой смерти, Бэт, милый.

А он, прижимая ее к груди, не вполне уверенный в искренности ее ответа, пылко воскликнул:

А если такое случится, я приду к тебе даже после смерти, и ни один смертный не посмеет встать между нами!

«Какая ерунда», — подумала она, когда он отпустил ее и стал отвязывать собак. А он был поистине хорош, пробираясь среди этих диких зверей, отпихивая одного и толкая другого, молотя кулаками направо и налево и выпутывая собак из оледенелых постромков, пока вся упряжка не встала как надо. Разрумянившееся от крепкого мороза гладковыбритое лицо его говорило о силе и упорстве. Каштановые волосы, густыми шелковистыми прядями ниспадавшие на плечи, вероятно, более всех других достоинств, вместе взятых, способствовали его бурному успеху у женщин. Но и мужчины, окинув взглядом сверху донизу все шесть с лишним футов мускулов, от подошв мокасин до макушки сшитой из волчьей шкуры шапки, — признавали его мужчиной. Но на то они и мужчины.

Она осторожно поцеловала его в своей обычной смущенно-доверчивой манере — раз, другой, а потом и третий; затем он ударил шестом по нартам и погнал собак, как умеет их погонять только завзятый погонщик, и покатил вниз по склону холма к главной речной тропе. Полуденное солнце, пробираясь по снежным вершинам гор к югу, превращало тонкие морозные кристаллики в ослепительно сверкавшую драгоценную прозрачную ткань. В ней-то и растворился Бэт Морганстон, направлявшийся вниз по Юкону к Сороковой Миле. Там он слыл королем благодаря золотому песку, который появился у него после томительных лет, проведенных в мрачных краях за полярным кругом. В Доусоне же ему было нечего делать. Здесь он не владел ни футом золотоносной россыпи, не был он в восторге и от здешних обитателей — этих чечако, примчавшихся сюда, словно шакалы, и погубивших те старые добрые времена, когда люди были людьми и каждый человек был тебе братом. Единственной причиной его пребывания здесь, и притом крайне недолгого, была Фрона. Он запряг собак и пригнал их по льду, чтобы повторить свое предложение, сделанное прошлым летом, и умолить ее приблизить дату. Итак, они поженятся в июне, и он с легким сердцем возвращался к управлению своими разработками. Июнь! Промывка обещала быть богатой, он продаст золото,

а потом Штаты, Париж, весь мир! Нет, конечно, у него оставались кое-какие сомнения, как и у большинства мужчин, оставляющих на время красивых женщин; но не успел он добраться до Сороковой Мили, как его сомнения исчезли, а к тому времени, когда, охотясь на лося, он застудил легкие и месяц спустя умер, он уже находился в блаженном состоянии непоколебимой веры.

А Фрона, помахав ему на прощание, тоже с легким сердцем вернулась в хижины отца; в тот миг и она была совершенно во всем уверена. Все решено. В июне они поженятся. Перспектива отнюдь не выглядела неприятной. По правде говоря, Фроне она даже нравилась. Люди были о нем самого высокого мнения, это партия, которой не следовало стыдиться. И кроме того, он был богат. Знатки утверждали, что полмиллиона он мог намыть в любое время, а если слухи о его владениях на Американском ручье окажутся хоть сколько-нибудь похожи на правду, он может стать вторым Макдональдом. Ну а это означало многое, потому что Макдональд на Севере был богатейшим золотоискателем, и, по самым осторожным подсчетам, его капитал оценивался в несколько миллионов.

А теперь да будет вам известно, что прегрешение Фроны Пэйн, за которое она была наказана, заключалось в том, что она нарушила обещание. Тогда почтовые упряжки между Сороковой Милей и Доусоном не ходили, а поскольку прииски Бэта Морганстона были расположены в сотне миль от Сороковой Мили, в самой глубине пустынного морозного края, то известие о его смерти вверх по реке не дошло. И так как он обещал писать лишь в самом крайнем случае, если ненароком подвернется непредвиденная оказия, то Фрона в его молчании ничего не заподозрила. Ничто не должно было побудить ее считать, что его нет в живых. Поэтому совершенное ею прегрешение действительно было предательством.

В природе не существует метода, позволяющего проанализировать женскую душу, равно как нет и весов, на которых можно взвесить ее побудительные мотивы; поэтому невозможно объяснить, почему Фрона Пэйн через три месяца после прощания с Бэтом Морганстоном отдала свою руку и сердце Джеку Креллину. Правда, Джек Креллин был королем Серкл-Сити, владевшим лучшими заявками на Березовой реке; однако уважаемые люди из тех мест ценили его невысоко, единственными его поклонниками были новички из подхалимов, подобострастно помогавшие ему добывать желтый песок. Причиной этого решения, по-видимому, было пришествие Джеку обаяние, а скорее всего — взаимный интуитивный порыв двух лекомысленных натур. Как бы то ни было, они догово-

рились пожениться в июне, поехать в Серкл-Сити и зажить по-просту, как это принято на Севере.

В том году Юкон вскрылся рано, и по такому важному случаю речной пароход «Кассиар», капитаном которого был ее брат, вскоре намечался к отплытию. «Кассиар» имел одновременно счастье и несчастье стать и кораблем, перевозящим сокровища, и санитарным судном. В своих железных трюмах он вез на пять миллионов золота, а в каютах — более сотни искалеченных и больных. И кроме того, на нем плыли золотые короли и торговцы с низовьев Юкона, возвращавшиеся после зимних забот и развлечений в Доусоне. Среди них, несколько предвосхищая ближайшие события, были записаны мистер и миссис Джек Креллин. Из-за того что калеки и больные причитали и стонали слишком громко, да и отправители золота бранились на повышенных тонах по поводу проволок с отплытием, пароход поторопился отдать швартовы, так что мистер и миссис Джек Креллин все еще оставались женихом и невестой.

— Ничего, Фрона, — сказал ей брат, — поднимайся на борт, а я позабочусь об остальном. В Сороковой Миле к нам присоединится преподобный Махан, и не успеете вы сказать: «Прощай, Серкл-Сити», как станете единым целым.

Грузовые марки, службы надзора за котлами и придирчивые советы страховщиков в ту пору еще не проникли в сумрачные владения Севера, и «Кассиар» отдал швартовы, набитый пассажирами, их имуществом и грузами, словно бочка сельдью. По всему судну шныряли ездовые собаки, чья работа начинается и кончается со снежным покровом; до крайности драчливые от безделья в летнее время, они по малейшему поводу грызлись друг с другом. Рослые индейцы-стиксы с верховьев Юкона облегчали свои тугие кошельки в попытках обыграть белого человека или же травили себя виски, которое им продавали по тридцать долларов за бутылку. Среди пассажиров была группа монголовидных мэйлмютов и иннуитов, добравшихся с Большой дельты за две-три тысячи миль отсюда; звучала нестройная речь и менее известных народностей. На Север посылали своих сынов разные нации мира, а они говорили на множестве языков. Словом, на попечении брата Фроны Пэйн находился настоящий плавучий Вавилон, который он уверенно вез через не отмеченные на карте пустынные края, по лону бурных вод, — ибо могучий Юкон все повышал свой голос и сердито ворчал, перекаывая волны от одного скалистого берега к другому. Немало дней требовалось накопившимся за девять месяцев снегам, чтобы пронестись мимо его теснин к далекому океану.

В Сороковой Миле на борту появились новые пассажиры и новый багаж. В числе путников был и отец Махан, а к грузу добавился некрашенный сосновый ящик, размерами соответствовавший общепринятому последнему приюту человека. В обыденной суете на почивших мало обращают внимания, поэтому тот ящик пихнули поверх груды багажа, сваленного на палубе. Но Бэту Морганстону, пролежавшему до погрузки на пароход в уютной ледяной пещере, теперь все было безразлично. Да и всем было безразлично. Здесь не было никого, кто о нем горевал бы, если не считать огромного пса, для которого вкус хозяйского бича все еще оставался приятным воспоминанием. На борт пес пробрался незамеченным и, прежде чем отдали концы, занял привычное место возле своего хозяина, наверху груза. Он был так свиреп и так угрожающе обнажал клыки, что остальные собаки на пароходе обходили его стороной, предпочитая оставить его наедине с мертвецом.

Все каюты были забиты больными, поэтому бракосочетание начали на палубе. Приближалась полночь, однако солнце, красный и недобрый его диск на севере, почти у самого горизонта, все еще посылало на землю свои косые лучи. Фрона Пэйн и Джек Креллин стали бок о бок, и отец Махан приступил к церемонии. С кормы доносилась ругань, там с полдюжины пьяных игроков затевали драку. Но основной людской груз сосредоточился вокруг главного события. Здесь же вертелись и собаки.

Все бы прошло хорошо, не начни один лабрадор искать удобное местечко для обзора на грудке багажа. Он множество раз путешествовал, переносил голод и холод, сотни раз дрался и поэтому не знал страха. Свирепый вид пса, бдительно сторожившего сосновый ящик, его заинтересовал. И, сверкая оскаленными клыками, лабрадор пополз к нему. Щелкая зубами и рыча, псы сошлись. Небрежно уложенный груз под ними зашатался.

Как раз в этот момент преподобный Махан благословлял тех двоих, которые отныне становились единым целым. И Джек Креллин торжественно произнес: «До самой смерти».

— До самой смерти, — повторила Фрона, и ее мысль вдруг обратилась назад, к другому человеку, некогда сказавшему эти слова.

На миг ее охватило раскаяние в содеянном. И в этот момент псы сомкнули свои челюсти в смертельном клинче, длинный сосновый ящик накренился и пополз с вершины пирамиды. Джек успел оттолкнуть Фрону, потому что ящик падал стоймя. От удара он раскололся, крышка отлетела в сторону, и Бэт Морганстон встал прямо на ноги как живой, солнце заискрилось в его шелковистых каштановых локонах, а он стал клониться вперед.

Все произошло очень быстро. Некоторые утверждают, что его губы приоткрылись в жуткой улыбке, что он обвил руками Фрону Пэйн и держал ее, пока оба не упали на палубу. Но это представляется невероятным, если иметь в виду, что человек был мертв; однако нашлись и те, кто готов был поклясться, что именно так все и было. А Фрона Пэйн страшно визжала, пока ее вытаскивали из-под трупа обманутого ею возлюбленного, и не переставала визжать до самого причала в Серкл-Сити.

А слова Бэта Морганстона сбываются и сегодня; если хотите, поезжайте через горы, что лежат за Серкл-Сити, там вы увидите рядом с хижинной могилу. В одной обитает Фрона Пэйн, в другой — Бэт Морганстон. Они ожидают друг друга и того дня, когда их око-вы падут и Труба Судьбы разорвет безмолвие Севера.

1899, опубли. 1900

ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО НА КЛОНДАЙКЕ

Заниматься домашним хозяйством на Клондайке — дело тяжкое! А когда за это берутся мужчины — и того хуже. Попробуйте, если угодно, сказать противоположное — и все равно не получится уменьшить количество всех связанных с этим занятием передраг. Вести домашнее хозяйство мужчине вообще нелегко, а на Клондайке — тем более. Этим все сказано. Мужчины всегда остаются мужчинами, и особенно справедливо это для тех, кто отправился на край света, в северные широты. В их взорах горит блеск золота, их гонит вперед честолюбие, и в глубине души они презирают всякие занятия кулинарией, кроме «жратвы». «Было бы что пожрать, — говорят они, вваливаясь в дом после поездки по тропе, изможденные, дико голодные, — жратвы бы, да побольше и погорячее». У них нет ни малейшего интереса к тому, из чего и как все это приготовлено; они предпочитают начать с «откровений».

М-да, до чего же, казалось бы, приятное занятие — готовить еду для таких мужчин; но дайте им пожить у вас в хижине, чтобы они с неделю передохнули, и вы тут же увидите, с какой надменностью они примутся отпускать саркастические замечания насчет поджаренного вами бекона или сваренного кофе. У каждого из них появится собственная, странная и невероятная теория касательно того, как именно следует замесить тесто на закваске и испечь хлеб. У каждого окажется свой проверенный рецепт (притом основан-

ный, заметим, исключительно на личном опыте), и для каждого из них это кумир, единственный в своем роде, и потому он будет отстаивать его всеми силами — да-да, до последней щепотки соды, а если понадобится, то будет готов и умереть за него! Встретив такого тирана на троне, совершенно обессилевшего, вы можете безнаказанно очернить его самого, флаг его страны, всех его предков; но достаточно хотя бы прошептать что-то неблагожелательное по поводу его хлебной закваски, как он набросится на вас и буквально растерзает.

Все это лишь говорит о том, какая ненадежная штука эта самая закваска. Ни одной кокетке не доводилось быть столь ветреной. Полагаться на закваску нельзя ни в коем случае. А ведь на свете нет ничего проще ее. Дело нехитрое: развести болтушку, поставить ее около печки (чтобы не замерзла), пока она не забродит или не заквасится. Потом замесить в опару муки, добавить по вкусу соды — и, конечно, сохранить немного закваски для следующей порции хлеба. Вот и все. Есть ли что-нибудь проще? Да вот только — ох уж все эти невзгоды, выпадающие на долю повара! Ведь ничто никогда не получается так же, как прежде. Вот если бы закваску удалось поставить при той же температуре, все вышло бы как надо. Вот если бы только не мешали друзья-товарищи — сколько нервов удалось бы сберечь! Но нет, куда там! Один натопит печь так, что в хижине будет жароша, как в парилке турецкой бани; другой вообще не подумает истопить печь, пока хижина не превратится в ледник; а тут еще ввалится, не дай бог, кто-нибудь третий да подвинет ведро с закваской прямо к печке, чтобы освободить место и посушить свои рукавицы. Жар, конечно же, лучше всего ускоряет брожение смеси муки с водой, и вот пекарь-горемыка всегда у всех в немилости. На прошлой неделе хлеб у него был желтым — он положил слишком много соды; на этой неделе хлеб слишком кислый — а все потому, что он предусмотрительно решил положить ее поменьше; а на следующей неделе... эх, да кому известно, что вообще получится, кроме разве что домового, живущего за печкой?

Некоторые повара утверждают, будто они до такой степени натренировали свое обоняние, что способны до долей градуса определить, насколько кислой получилась закваска. И тем не менее никому из них ни разу не удалось испечь подряд две одинаковые партии хлеба. Этот факт, однако, вовсе не бросает тени на безупречность их теории. Все они, как один, ссылаясь в своих интересах на всевозможные обстоятельства, бесчестно выкручиваются: заявляют, будто всему виной сода, которая подмокла «в тот раз, когда пере-

вернулась лодка», или же мука, которую они обменяли «у того самого собачника-полукровки».

Гордость жителя Клондайка, выпекающего собственный хлеб, до того велика, что не поддается объяснению. Высшая похвала в тех местах — назвать кого-то «парнем с закваской», то есть пережившим зиму старожилом, в отличие от зеленого новичка. Ни один выпускник колледжа не гордится так своим дипломом в кожаном переплете, как житель Юкона — этим прозвищем. Это своеобразный знак отличия, и новичку он не полагается. Какой-то молоко-сос-первогодок со своим пекарным порошком — существо низшего ранга; а «парень с закваской» — человек надежный, он уже аспирант в области непревзойденного искусства выпекания хлеба.

Помимо хлеба, повар на Клондайке стремится добиться всеобщего признания своими сладкими пышками. На первый взгляд может показаться, будто это дело пустячное, однако если как следует приглядеться да учесть, из чего приходится их готовить, то можно решить, что оно и вовсе непосильное. Однако пышки очень важны для того, кто отправляется в дорогу, не важно, долгую или короткую. Хлеб ведь легко смерзается, в нем также меньше жира и сахара, чем в пышках, — а значит, он дает меньше энергии. Пышки не делаются твердыми — разве что при крайне низких температурах, — и их очень удобно носить в широких карманах шерстяной куртки и подкрепляться ими в пути. Готовят их, в общем и целом, так же, как и в более теплом климате, с тем лишь исключением, что здесь, на Севере, их пекут на свином жире, — и чем больше положить жира, тем они окажутся лучше. Для повара главная трудность — это количество сахара; если же его вообще осталось очень мало, ну что ж, тогда надо лишь добавить побольше жира. Никто ничего не скажет, не возразит — ну, пока он в пути. В хижине, конечно, дело другое — но для любого едока тогда уже будет достаточно хлеба.

Морозы, мертвая тишина, темнота — вот что, по-видимому, считается главными проблемами жителей Клондайка. Но это вовсе не так. Главная беда, которая затмевает собой все остальные невзгоды и лишения, — отсутствие сахара. Всякий раз, когда на Север отправляется очередная группа новичков, они мужественно выказывают твердую решимость обойтись без сахара, но стоит им добраться до места, как все начинают горестно сетовать на собственную непредусмотрительность. Любой может преспокойно переносить лишения, привыкнуть к жутким условиям существования, но отбери у него сахар — и он начнет стенать, вознося свои жалобы до небес. Больше всего будет доставаться, разумеется, много-

страдальному повару. Понятное дело: и кофе, и кукурузная каша, и комлот, и рис — все это без сахара вовсе не так вкусно... Чего-то не хватает, отсутствует нужное воздействие на языковые сосочки... И тогда повара обвинят в том, что он сварганил отвратительное варево. Правда, если он человек многомудрый, ему удастся избежать большинства всех этих несправедливых обвинений. Когда он ставит на стол котелок с кашей, ему надо позаботиться еще и о том, чтобы рядом оказался также котелок с распаренными сушеными яблоками или персиками. Благодаря подобному соседству у любого едока возникнет ощущение нужных вкусовых сочетаний и пресность одного блюда будет компенсирована пряным вкусом другого. В отсутствие сахара наш повар, если только он обладает незаурядными способностями, сварит рис в одном котелке с сушеными фруктами; а если ему удастся должным образом приготовить рис с черносливом, он заставит приободриться самого грустного из старателей и удостоится от него величайшей благодарности.

Повару надо быть человеком воистину изобретательным. Если его сотоварищи потребуют уксус, чтобы полить им бобы, а уксуса не осталось ни капли, повар должен суметь сделать уксус с помощью воды, сушеных яблок и оберточной бумаги. Можно взять ту бумагу, в которую завернут бекон, и хотя она обычно пропитана жиром, это, однако, не играет никакой роли. Повар знает, что в этих краях, где царят сильные морозы, жир бекона не может ничего испортить. И для белого человека он так же важен, как для эскимоса ворвань — китовый и тюлений жир. Из него, добавив к свиному жиру лишь воду и поджаренную муку, можно сделать подливку, способную растопить сердца едоков. Некоторые повара настолько прославились своими подливками да соусами, что их имена на устах у всех, кто бы и когда бы ни оказался на трапезе. Если закончились свечи, опытный повар растопит свиной жир в консервной банке из-под сардин, вставит в него фитиль из парусных ниток, какими пользуются плотники, и — смотри-ка! — жировая лампа уже готова. По-простому ее называют еще другим словом, куда менее пристойным¹, и, помимо хлеба на закваске, она отвечает за спасение большего числа человеческих душ, нежели любая иная причина падения нравов на Клондайке.

Идеальный повар должен также обладать одним качеством, которое характерно для восточных народов. Предприимчивость —

¹ Такую самодельную лампу называли тогда по-простому, бесхитростно — «стерва» или «сучка». — *Примеч. пер.*

не единственное условие расцвета его творчества; он вдобавок обязан следить за разнообразием продуктов в своей кладовой и уметь «выцыганить» их у кого-то из «чужих»; по горе ему, если баланс в результате этого обмена окажется не в его пользу. За такое (особенно если бекон вдруг окажется пережарен) все товарищи повара не премнут задать ему перцу по первое число, причем они даже способны потревожить его сон, чтобы лишний раз напомнить ему об этом. Скажем, для старателей, отправляющихся в путь-дорогу, повар варит несколько галлонов бобов с кусками шпика и большим количеством сала. Это варево он разложит в формы подходящего размера и выставит их на крышу хижины, где оно за несколько часов замерзнет, превратившись в брикеты. Таким образом, усталым путникам, пробывшим целый день на холоде, надо лишь порубить эти куски топором и разогреть их на сковороде. Далее: весьма вероятно, что из десяти партий старателей хотя бы одна захватила с собой достаточно горького кайенского перца. И повар, если он действительно достоин такого звания, обязательно разузнает, где перец все-таки имеется, выяснит, каких конкретно продуктов не хватает в той партии, — и обменяет на кайенский перец те припасы, которых у него в избытке. Ведь перец-то он обязательно добавит в свое варево, о котором говорилось выше, чтобы создать блюдо, коему позавидуют даже голодные арктические боги. Разнообразию в пище золотоискатели радуются с неменьшим восторгом, чем находке самородка. Стоит повару обменять несколько чашек сухих персиков, которые всем уже порядком надоели за несколько месяцев, на сушеные абрикосы, — и будущее мгновенно представляется в куда более розовом свете. Можно изменить лишь сорт бекона, и одно это способно возродить подорванную было веру в светлое будущее.

Быть поваром на Клондайке — вовсе не синекура. Готовить нередко приходится в помещении, размеры которого составляют всего лишь десять на двенадцать футов, причем в нем же, помимо самого повара, постоянно обитают еще трое. Если представить себе, что все они в этом небольшом помещении едят, спят, сидят, развалившись на стульях, курят, играют в карты и принимают гостей и что здесь же хранится большая часть их пожитков, можно легко вычислить размеры орбиты, остающейся повару для его деятельности. Утром, едва проснувшись и присев на койке, он дотягивается до печи, чтобы разжечь огонь, — и только после этого принимается одеваться. Дальше центром притяжения для него становится печь с плитой, а орбита его перемещений не превышает в диаметре размаха рук. Но живущие с ним в этой хижине товарищи все равно

без конца покушаются на его владения, и он вечно воюет с ними, предотвращая их попытки территориальных захватов.

Старатели целый день вкалывают на своих участках, а от повара все ожидают, что он сам найдет дрова и принесет воду для готовки. Дрова он наколет в лесу и потом привезет их в лагерь, а воду доставит домой в бурдюке — но если он весьма запаслив, то у него прямо за дверью находится около тонны воды. Когда он не занят приготовлением пищи, то оттаивает лед, а еще он время от времени выбегает из хижины и поднимает на таях клеть из шахтного ствола для своих товарищей. Заботиться о собаках также входит в его обязанности, и всякий раз, когда он их кормит, в руках у него длинная дубинка — это позволяет выжить...

Лишь одно повару не нужно делать — да и не только ему, но и никому из живущих на Клондайке: это стелить для другого постель. Более того, койки вообще никто никогда не застилает — разве что одеяла свалились на пол или с еловых веток, подложенных вместо матраса, уже опали все иголки. Если пол в хижине земляной и ее обитатели занимаются внутри плотницкими или столярными работами, повар никогда не подметает пол. Ведь в доме будет куда теплее, если оставить щепки и стружку на полу. Да и когда нужно развести огонь в печи, повар лишь подбирает с пола несколько пригоршней щепок — на растопку. Правда, когда этих отходов становится так много, что он уже стучается головой о потолок, он тут же, схватив лопату, счищает с пола слой толщиной около фута.

Мыть окна ему незачем, пока их нет; но если плотник слишком занят, повару приходится сооружать окно самому. Это дело простое. В одной из стен хижины он выпиливает отверстие, вставляет им же сделанный оконный переплет, а вот вместо стекол приходится довольствоваться драгоценными бумажными листами из блокнота. Блокнотная бумага, если ее хорошенько натереть жиром, становится прозрачной, отталкивает воду во время оттепели, а также не пропускает морозный воздух внутрь и не дает теплу уйти наружу. В очень сильные морозы на ее внутренней стороне образуется наледь толщиной в два-три дюйма. Когда ртуть замерзает в термометре, повар смотрит на свое окно и по толщине ледяного покрова довольно точно — с погрешностью всего лишь в пару градусов — определяет, насколько холодно снаружи.

Повар на Клондайке обязан иметь некоторые познания в астрономии, так как еще одна его обязанность — следить за временем. Поэтому, перед тем как лечь спать, он выходит из хижины и изуча-

ет небо. Обнаружив с помощью созвездия Большой Медведицы Полярную звезду, он втыкает в снег два тонких прутика — на расстоянии нескольких ярдов друг от друга и на одной линии с последней. На следующий день, когда солнце будет над южным горизонтом и тени от прутьев протянутся к северу и совпадут в одну линию, повар поймет, что это полдень, а значит, поставит правильное время на часах и у себя, и у своих товарищей. Но поскольку бродячие собаки без конца опрокидывают эти прутья, у повара входит в привычку каждую ночь выходить наружу и проверять их положение, — и таким образом на нем лежит еще одна обязанность.

Но все-таки, хотя заботы того, кто на Севере содержит дом в порядке и готовит еду, неисчислимы, в его планиде есть положительная черта, которой лишены женщины, ведущие домашнее хозяйство в других странах. Когда все доходит до крайности, принимая серьезный оборот, женщина-хозяйка может набросить на голову свой передник и начать рыдать во весь голос. А нашему повару — ведь он не только мужчина, но еще и житель Клондайка — вести себя так не пристало. Он лишь будет готовить еду с еще большим остервенением, яростно костерить все на чем свет стоит — и в конце концов может вообще сложить с себя свои обязанности. После чего вновь начинает вести вольную жизнь на свежем воздухе, прилагая все усилия к тому, чтобы отравить жизнь того несчастливца, который занял его место в управлении кухонным царством.

1899, опубл. 1900

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ НА РЕКЕ СЛАВЯНКЕ

Вздрагнув, она очнулась от сна. Муж говорил ей что-то, еле слышно, но настойчиво.

— Вставай, — повторил он. — Вставай же. Ну, Нелла. Скорей! Вставай.

— Но я не хочу, — возразила она, тщетно пытаясь снова провалиться в приятную полудрему.

— А я говорю: надо. Ты не шуми и давай поторапливайся. Давай-давай... Ну же! От этого зависит наше будущее!

Нелла Тичборн наконец проснулась, ее пробудило едва сдерживаемое возбуждение в его шепоте. Опустив ноги на холодный пол хижины, она вздрогнула.

— В чем дело? — спросила она раздраженно. — Что еще?

— Ш-ш-ш! — шикнул на нее муж. — Говорю — не шуми! Молчок! Живо одевайся!

— Да в чем дело-то?

— Если любишь меня, одевайся и не шуми.

— Вот что, Джордж, я с места не сойду, если не скажешь мне, что стряслось.

И она подтвердила свой ультиматум, снова усевшись на край койки.

Тут муж ее застонал:

— О господи, время же уходит, драгоценное время, ты его теряешь! Разве я не сказал тебе: сейчас решается наше будущее... Да поспеши же! Есть верные вести. Никто не знает. Это секрет. Хотя туда уже кое-кто рванул... Ш-ш-ш! Оденься потеплее. Сейчас самый мороз. Минус шестьдесят пять. Я позову Айкиш. Она ведь тоже захочет в этом участвовать, я-то знаю. Ну Нелла...

— Что?

— Скорей же.

Он перешел на другую половину хижины, за одеяло, разделявшее помещение, и позвал Айкиш. Индианка уже не спала. Ее муж жил на прииске у ручья Бонанза, но эта хижина принадлежала ей, и она сейчас принимала в ней Джорджа Тичборна и Неллу.

— Что такое, Тичборн? — спросила она. — Нелла болит?

— Нет-нет. Гонка. Богатый ручей. Золото, много. Скорей одевайся.

— Сколько сейчас?

— Двенадцать. Полночь. Не шуми.

Уже через пять минут дверь хижины открылась, и они вышли наружу.

— Ш-ш-ш! — предостерег он.

— Джордж, а ты взял сковороду?

— Да.

— А лоток? Топор?

— Да-да, Нелла. А ты не забыла пекарный порошок?

Они быстро шли вниз по склону, в сторону спавшего Доусона, и лишь снег скрипел у них под ногами. За плечами каждый нес легкий походный мешок, где были только меховая одежда да самое необходимое, чтобы разбить лагерь на полярном морозе. Доусон, однако, вовсе не спал. В окнах хижин зажигался свет, и им то и дело слышались доносившиеся оттуда сквозь тьму неясные голоса. Собаки уже принялись выть, кое-где хлопали двери. Когда путники наконец добрались до казарм, позади них, в городе, все ходи-

до ходуном. Здесь тропа резко спускалась к воде, а дальше она пересекала Юкон и уходила к противоположному берегу, теряясь на глубинах льду.

Джордж Тичборн тихо, почти про себя, выругался, а вслух сказал:

Все-таки разнеслась весть, теперь все уже знают. Наверняка теперь все кинутся туда. Давайте скорей, скорей: они все все-таки позади нас, и мы своего добьемся!

Джордж!

Пенуемый крик пронзил безмолвное пространство и тут же смолк: это Нелла, поскользнувшись на льду, свалилась с крутого берега, с двадцатифутовой высоты, куда-то вниз, во тьму.

Нелла! Нелла! Где же ты?

Джордж спотыкался о нагромождение льдин, на ощупь пробираясь к ней так быстро, как только мог.

— Ты не ушиблась? Где ты?

— Все в порядке! Я сейчас, — бодро отвечала она. — Снегу полным-полно за шиворотом, он тает — бррр!

Едва все трое воссоединились, как сверху прямо на них съехали две черные фигуры. За ними последовали другие, и если кто-то спускался к реке чинно-благородно, то большинство и думать не хотело о привычном способе передвижения и добиралось до реки на любой части тела, только не на ногах. У всех за плечами были легкие походные мешки, у всех в душе — безумная спешка.

— Где же тропа? — раздался крик.

И все бросились искать тропу через реку.

Наконец Джордж Тичборн нашел ее и вместе с Неллой и Ай-киш двинулся впереди всех. Однако в темноте ночи они то и дело отклонялись в сторону, оскальзывались, спотыкались, падали на беспорядочных ледовых завалах. В конце концов он в полном отчаянии зажег свечу, и — поскольку воздух был недвижим — идти сразу стало легче. Нелла оглянулась и при виде полусотни человек, торопливо шагавших позади, расхохоталась с истерической ноткой в голосе. Муж ее, сцепив зубы, яростно устремился вперед.

— Мы хотя бы в самом начале этой толпы, самые первые, — шепнул он ей, когда они повернули к югу, на более гладкую тропу, которая шла под сенью прибрежных утесов.

Но тут поперек неба взвилась огромная пылающая лента, рассыпая пульсирующие огни на лик ночи. Тропа впереди них осветилась, и, насколько хватало глаз, она была усеяна неясными фигурами, которые двигались в одну и ту же сторону. Потом те, что

были позади, начали их обгонять, один за другим, прилагая невероятные усилия.

— Ах, Нелла! Скорей! — Он схватил ее за руку и принялся тащить за собой. — Сейчас нам выпал шанс, которого мы так долго ждали. Только подумай, что будет, если мы его не используем!

— Ох! Ох! — Она задыхалась и едва не падала. — Ни за что не дойдем! Ни за что!

В боку у нее кололо, голова кружилась от непривычной спешки. Айкиш пробурчала что-то, подбодряя ее, и подхватила за другую руку. Но все равно неясные тени по-прежнему нагоняли их и уходили вперед.

Прошло несколько часов — они тянулись точно столетия. Ночь казалась Нелле бесконечной. Постепенно сознание как будто оставило ее, а все ее ощущения свелись к одной лишь механической задаче — идти вперед. Подниматься, падать, снова и снова, снова подниматься — ее конечности будто превратились в огромные маятники, отсчитывавшие время. Перед нею и позади нее мерцали две вечности, она же лишь раскачивалась между ними в грандиозном ритмичном движении. Она перестала быть Неллой Тичборн, перестала быть женщиной, но превратилась в ритм — один лишь ритм, и больше ничего. Порой до нее слабо доносились голоса Айкиш и мужа, однако в своем полубессознательном состоянии она ничего не могла разобрать. Завтра у нее не останется и воспоминания об этих звуках — ведь ритм не воспринимает звуки. Звезды побледнели, пригасли, но она ничего не заметила; северное сияние уняло свои сполохи и предрассветная тьма пала на землю, однако Нелла этого не осознавала.

Но еще до наступления темноты Айкиш, поравнявшись с Джорджем, показала на неясные очертания гор, высившихся над западным берегом реки.

— Шведка? — коротко спросила она, указывая в ту сторону, куда вела тропа.

— Нет, — ответил Джордж. — Славянка.

— Нет Славянка тут. Вон Славянка... — Она повернулась, указывая куда-то во тьму, на пять градусов южнее. — Там.

Он резко остановился. Нелла продолжала идти вперед, не обращая внимания на его зов, пока он не бросился за нею и не заставил тоже остановиться. Она послушалась его — и перестала существовать как ритм. Две вечности, которые она должна была собой разделять, теперь столкнулись друг с другом — она же осталась сама по себе. Она перенеслась к старому дому на родине, в Штатах,

села там под огромными деревьями, радуясь солнечному теплу, — это их прежний дом, который они заложили, дом, который погнал их к полярному кругу, за желтым золотом! Выкупить этот старый дом — вот их общая цель! Правда, сейчас она уже забыла об этом, она смеялась, что-то лопотала, переливала из одной руки в другую, туда-обратно, свет солнца. До чего же тепло! Неужели она когда-то раньше ощущала что-либо подобное?

Джордж совещался с Айкиш. Та бесстрастно повторяла, что Славянка южнее — дальше к югу, чем он думал.

— Кто-то впотьмах сбился с пути, — радовался он, — и все по его следу шли, как овцы. Скорей! Скорей! Мы тогда все-таки успеем к финишу, опередим тех, кто нас обогнал!

Двинувшись на юго-запад, они пересекли низину и через пять миль, по прошествии двух часов, когда серые рассветные сумерки окутали окрестности, вступили в устье Славянки, укрытое густым лесом. Всюду было множество разнообразных следов недавней гонки, и Джордж понял: Айкиш права; однако он все же опасался, что ошибка эта произошла слишком поздно ночью и не столь уж многие из погнавшихся за призрачным счастьем отправились вверх по Шведке.

— Слушай, Нелла, — крикнул он жене, которая слепо брела за ним по пятам, — все отлично! Мы наверняка застолбим участок. Настал наш день. Посмотри вокруг. Это же Славянка, и сегодня — День благодарения!

Она повернулась к нему, лицо ее ничего не выражало.

— Да, закладную выкупим, всю сумму, с процентами, обещаю, — мы с Джорджем оба тебе обещаем. Даже сейчас, завтра, мы идем на север, чтобы выкупить закладную.

Джордж, ничего не понимая, беспомощно посмотрел на Айкиш.

— Э-э, устал очень, — сухо произнесла та. — Но будет все хорошо, скоро. Скоро лагерь делать, стоянка, будет хорошо.

Они еще пять миль шли вперед и наконец приблизились к первым деревьям с белыми засечками и недавно вбитым в землю заявочным столбам. Но они шли все дальше, еще несколько часов, вверх по промерзшему руслу реки, и повсюду непрерывной линией тянулись застолбленные участки. Уже и Джордж, и индианка устали и шли тяжело дыша. Айкиш, ревностно следившая за лицом Неллы, время от времени, когда оно белело, принималась растирать ей снегом нос и кожу на скулах. Они миновали уже многих счастливицов — одни успели завернуться в свои меховые одеяния прямо возле тропы, другие готовили еду и грелись у костров, где трещали в огне сухие еловые ветки. В одиннадцать часов на юго-

востоке появилось солнце, и хотя его лучи не давали тепла, все вокруг стало больше радовать взор.

— Сколько там, дальше, еще участков? — спросил Джордж у человека, который, прихрамывая, шел им навстречу вниз по тропе.

— У меня сто семьдесят девятый, — отвечал тот, останавливаясь и разминая руками натруженные мышцы ног. — А за мной еще человек десять; значит, до сто восемьдесят девятого дошли.

— Этот участок — сто седьмой, — принялся вслух соображать Джордж. — Каждый — пятьсот футов в длину, на каждую милю десять участков, то есть еще восемь миль, а?

— В самую точку, — заверил его прохожий. — Только прибавьте шаг. Ведь половина тех, кто сюда шел, по ошибке повернули на Шведку — это соседний ручей, — но теперь они, поняв свою ошибку, уже перевалили через водораздел и начали дальше столбить, за сто восьмидесятыми.

Ну и досталось им там, хуже не придумаешь! — успел крикнуть человек напоследок. — Мне встретился первый, кто смог добратся сюда через водораздел. Говорит, что там на тропе много совершенно измотанных парней, и еще — что он сам видел пятерых, кто насмерть замерз на перемычке.

Замерзли насмерть! Эти слова заставили Неллу очнуться от спутанных видений, возникавших у нее в голове. Еле брезжившее сознание вернулось к ней, и она, вздрогнув, открыла глаза. Беспредельная ночь сгинула, — где и как она ее провела, Нелла не смогла бы сказать, и вот на нее ослепительной вспышкой обрушился день. Она огляделась. Все было чужим, нереальным. Оба ее спутника кое-как ковыляли, она и сама ощущала сильную тупую боль в руках и ногах. Тут муж ее обернулся, и она увидела, что его лицо и борода заиндевели, как и рот у Айкиш, чьи брови и ресницы побелели и удлинились. Нелла почувствовала, до чего тяжелы ее собственные ресницы и как трудно ей разлеплять их, после того как она прикрывает глаза. Изнурительная двойная нагрузка — ходьба и борьба с морозом — уничтожила все запасы энергии в ее теле, ей было холодно, ее мучил голод. Последнее было для нее даже хуже, чем боль в натруженных мышцах; ее начало подташнивать, колени у нее дрожали, ноги от слабости заплетались.

Время от времени Джордж сходил то в одну, то в другую сторону с тропы, шедшей посредине реки: надо было найти очередную веху, которой застолбили участок, — их ведь не всегда ставили по руслу. Нелла в такие моменты тут же валилась на снег, чтобы передохнуть, но Айкиш снова поднимала ее, трясла, даже грубо колотила. Ибо Айкиш знала, что на таком морозе пять минут отдыха

без костра означали одно — смерть. Нелла вновь потеряла представление о времени, но порой приходила в себя от боли, пока все не начало казаться ей чудовищным кошмаром. Порой деревья превращались в призраки, которые молили полную чушь, Славянка — в пренсподнюю, причем ее муж был Вергилий, он-то и вел ее по аду, в котором несчастные были обречены на вечные муки, — от одного круга к другому. Но в другие моменты, когда она хотя бы смутно что-то осознавала, в ней с новой силой пробуждалось воспоминание о старом доме, и мысль о закладной придавала ей силы, заставляя двигаться вперед.

Спустя долгое, очень долгое время — казалось, прошли века — она услышала радостный крик Джорджа, и, взглянув на него будто издалека, увидела, как он стесывает кору с дерева и что-то пишет карандашом на белой засечке. *Наконец-то!* Она опять упала в снег, Айкиш со всей силы ударила ее по губам, которые сразу начало саднить. Нелла в ярости вскочила на ноги, но Айкиш оттолкнула ее и отправила собирать сухостой.

Снова Нелла перестала воспринимать время — она что-то делала механически, ничего не понимая; а когда вновь пришла в себя, то уже лежала, завернутая в шкуры, у пылавшего костра и Айкиш замешивала болтушку, разводя муку в воде, и заваривала кофе. К собственному удивлению, Нелла после небольшого отдыха чувствовала себя куда лучше, она даже смогла оглядеться. Джордж прибежал к ним с реки, он принес лоток с мелким песком, который набрал со дна через пробитую во льду полынью, и теперь грел у костра руки. Потом, промыв песок, он сразу показал Нелле пробу. В тонком слое черного шлихового песка на дне лотка оказалось немало желтых зерен, сверкающих золотых крупинок, а кроме них, были видны несколько маленьких самородков. Джордж радовался как мальчишка, он прыгал от счастья, несмотря на страшную усталость.

— Наконец-то, Нелла! Мы напали на жилу! — восклицал он. — Дом теперь наш! Если с поверхности такая проба, что же будет в коренной породе?

— Сказать по правде...

Они обернулись, вздрогнув от неожиданности. Какой-то незнакомец подобрался к самому костру, а они в приливе восторга даже не заметили его.

— Сказать по правде, — повторил он с сияющей улыбкой, — на этой реке самое богатое месторождение — что на Аляске, что во всей Северо-Западной территории. Верняк!

Усевшись поближе к огню, хотя его никто не приглашал, он попытался развязать заледеневшие мокасины.

— Я сюда еле пробился, все по льду шел, — продолжил он, — да вот ноги промочил. Вконец замерзают теперь, что ли.

Айкин бросила готовку, Джордж тоже взялся помогать, и они срезали у этого прохожего мокасины и носки, потом долго терли его побелевшие ноги, пока они не порозовели и в них не вернулось тепло жизни.

— Сказать по правде, — беззаботно говорил страдалец, пока они занимались его ногами, — у вас, братцы мои, судя по пробе, самая богатая жила на этой речке. Знамо дело! Ну, я тоже не промах, и мне повезло, спору нет! Потерялся только, на Шведку попал, потом и полез через водораздел. Эхма! Там на тропе кругом одни померзшие. А мне свезло, вот какие дела!

— Настоящий День благодарения, Нелла, у нас-то.

Джордж Тичборн подал ей оловянную тарелку с оладьями, которые сочились топленным свиным жиром, и большую кружку с обжигающе горячим кофе. Нелла, порывисто схватив его руку, пожала ее и влюбленно посмотрела на него, ее глаза сияли...

— Сказать по правде... — еще успела услышать она слова незнакомца, однако перед ее взором тут же предстал родной дом, теплый, освещенный солнечными лучами, и она мигом провалилась в сон, так и не узнав, про что говорил этот человек.

1900

ПЛЕШАК

— Так вот, насчет медведей...

Тут король Клондайка умолк с задумчивым видом, а все, кто был на веранде гостиницы, придвинули стулья поближе к нему.

— Да, если насчет медведей-то, — продолжил он, — они тут у нас, на Севере, всякие попадаются. К примеру, летом их на реке Литтл-Пелли полным-полно — лососем лакомятся, так что в те места никто — ни индейцы, ни белые — ближе чем на расстояние дневного пути даже не подходят. А в Рампартских горах странный такой медведь водится, его прозвали «косогорный гризли». Все потому, что он там по косогорам еще с самого потопы бродит, оттого лапы с одного боку у него сделались вдвое короче, чем с другого. Он, вообще-то, даже зайца перегнать может, если, конечно, раскочегарится как следует. Опасный ли он? Догонит ли человека? Нет,

слава богу... Ведь достаточно побежать вниз с горы, заворачивая в обратную сторону, чтобы, понятное дело, лапы у этого медведя, те, что длиннее, оказались выше по склону, а те, что короче, — ниже. М-да, чудное создание, что и говорить, но я вовсе не из-за него завел разговор про медведей.

Есть на Юконе и другие медведи, и у них с лапами все в порядке. Этих прозвали плешивомордыми гризли, или плешаками, они огромные-преогромные, а уж до чего коварные... Одним лишь безмозглым белым взбредет в голову на них охотиться. Индейцам-то ума хватает не связываться с ними. Есть одна вещь, которую про плешаков следует знать: они никому и ни за что не уступят дороги. Едва заметишь плешака, тут же уйди с его пути, коли собственная шкура дорога. А не ушел — пеняй на себя. Да хоть бы этому плешаку сам Иегова повстречался, он и то на дюйм не отступил бы! Ох, паршивец, до чего ж гордая тварь — уж я-то знаю. По собственному опыту. А когда приехал сюда, про плешаков ничего знать не знал, хотя еще пацаном повидал немало и бурых медведей, и черных, которые помельче. Их, правда, бояться нечего.

Ну вот, как мы обустроились на участке, который застолбили, пошел я вверх по горе — приглядеть березку, чтобы топориче сладить. Найти подходящую оказалось трудно, и я все шел и шел вперед, часа два, наверно. Но и с выбором не спешил, понимаете, мне, вообще-то, надо было в Форкс¹ — занять бурав у Старины Джо по прозвищу Коняга. Выходя из дома, я прихватил с собой несколько лепешек да шматок сала — на случай, если проголодаюсь. И, верите ли, завтрак мне этот очень пригодился — притом до того, как я собрался поехать.

Набрел я наконец на замечательную березку, что росла среди сосняка. Только я замахнулся тесаком, как случайно глянул вниз по косогору. А там прямо в мою сторону громадный медведь прет, лапы так и мелькают. Это как раз и был плешак, да только тогда я мало что в них понимал.

«Сейчас как пугану его!» — сказал я себе самому и притаился за деревьями.

Выждал я, значит, пока он подберется поближе, и как он оказался футах в ста, тут я и выбежал ему навстречу.

— А вот сейчас как задам тебе! — заорал я, думая, что он тут же молнией бросится наутек.

¹ *Форкс* (Гранд-Форкс) — основанное в 1896 г. и позднее заброшенное поселение в территории Юкон, у места впадения ручья Эльдорадо в ручей Бонанза.

Какое там — паутек! Он лишь повел головой, чтоб получше меня разглядеть, и опять -- прямо в мою сторону.

— Пошел отсюда! -- орал я все громче и громче.

А медведь -- все ближе и ближе...

«Ах, чтоб тебя! -- сказал я про себя, уже совершенно взбеленный. -- Ну погоди у меня! Побежишь как миленький...»

Короче, сорвал я с головы шапку и, размахивая руками, крича во все горло, кинулся ему навстречу. Но в одном месте мне преградила путь здоровенная сосна, которую с корнями вывернуло в бурю; а была она мне примерно на уровне груди. Остановился я там, а медведь этот плешивомордый — прямо на нее... Тут меня страх-то и пробрал. Когда он на задние лапы встал, чтобы перебраться через преграду, я так завопил — ничуть не хуже индейца-команча. Швырнул ему в морду шапку и как дал оттуда деру!..

Ой-ей-ей! Обежал я комель этой сосны и припустил вниз по склону со всех ног, да только этот гад плешивый уже меня догоняет, с каждым прыжком все ближе и ближе. Под горой была открытая, широкая прогалина, только вся неровная, в кочках, а до леса еще с четверть мили. Я понимал, что стоит мне поскользнуться и упасть — как все, пиши пропало, но я мчался, выбирая где посуше, лишь пятки сверкали... А этот хмырь плешивый — прямо за мной. На полпути он уже почти догнал меня и даже разок лапой цапнул, но только пятку мокасины своим когтем задел. В общем, мне тогда пришлось очень быстро соображать. Было ясно, что он меня вот-вот догонит, я даже до опушки не добежу, — ну, тут я выхватил на ходу свой простецкий завтрак и швырнул ему.

Назад я не оглядывался, пока не добежал до леса, а как оглянулся, вижу: он мои лепешки жрет, да так, что мне еще страшнее стало — ведь он меня только что едва не сцапал. В общем, я и дальше не сбавлял ходу, себя не берег. Ну, бегу я со всех ног, но за поворотом, прямо на пути у меня — хотите верьте, хотите нет — еще один плешак!

Завидев меня, он фыркнул и — тоже вперед, на меня.

Я тут же дал задний ход и понесся обратно, да вдвое быстрее прежнего. Этот — за мной по пятам, и он так пыхтел-хрипел, что про первого медведя я вообще забыл думать. И вдруг вижу того, первого, а он, как говорится, поспешает не торопясь, и на морде у него написано: куда, мол, этот делся, а еще — неужели он такой же вкусный, как и его завтрак... И как только меня завидел, страшно обрадовался. Кинулся в мою сторону, да как рывкнет! А позади меня — другой-то плешак — тоже как рывкнет!

РАЗЖЕЧЬ КОСТЕР

А я шарахнулся в сторону, в кусты нырнул, продираюсь сквозь них, будто дикарь... Тут я вконец обалдел: мне теперь везде вокруг одни плешаки чудились. И точно: в зарослях ежевики я вдруг — трах-бах! — со всего размаху налетел на что-то... И это что-то как огрело меня чем-то, как навалилось на меня! Еще один! Тут я понял, что мне точно крышка. Но сам решил, что не сдамся, буду биться до последнего, и колочу его, ору, отшвыриваю, опять сцепляюсь -- в общем, хуже не бывает...

Боже ты мой! — вдруг охнул тот. — Силы небесные!..

Я гляжу — а он, оказывается, и не медведь вовсе. Человек... А я его еще дубасил так, что не приведи господь!

— Я же думал, что ты медведь, — говорю.

Он все никак не может дух перевести, лишь вылупился на меня. Наконец выдавил:

— И я — тоже...

В общем, оказалось, что за ним, как и за мной, погнался плешак, но он смог спрятаться в кустах ежевики. Оттого мы друг друга и приняли за медведей.

На тропе меж тем рев начался чудовищный, но мы с ним не стали выяснять, что там стряслось. Потом, уже после полудня, мы с Джо-Конягой, взяв у него ружья и зарядив их пулей на медведя, двинулись назад. Может, вы не поверите мне, но, когда мы туда пришли, там лежали два мертвых плешака... Тут, понимаете ли, вот какое дело: когда я в сторону рванул, в кусты, они налетели друг на друга, и ни один из них не мог уступить дорогу другому. Вот и дрались до последнего.

Это что касается медведей. Как я уже говорил...

1895, опубл. 1900

РАЗЖЕЧЬ КОСТЕР¹

Во всяком путешествии и мореплавании присутствие спутника обычно считается желательным. На Клондайке же, как убедился Том Винсент, без спутника просто невозможно. Том пришел к такому категорическому выводу благодаря не инструкциям, а собственному горькому опыту.

¹ Ранний вариант рассказа «Костер» из сборника «Потерявший Лицо» (1908).

Закон Севера гласит: «*Ни в коем случае не пускайся в путь без товарища*». Том слышал его множество раз, но только посмеивался, потому что был он здоровенным широкоплечим молодым парнем, верил в себя, в свою смекалку, в силу своих рук.

Произошло это в студеный январский день, и случай этот пробудил в нем почтение к морозу и к мудрости тех, кому довелось с ним сразиться.

Из лагеря Калюме, что на Юконе, он вышел с легким рюкзаком за спиной, направляясь вверх по ручью Пол до хребта, служащего водоразделом с Вишневым ручьем, где его партия вела разведку и занималась охотой на лося.

Было градусов шестьдесят ниже нуля, а ему предстояло пройти в одиночку тридцать миль. Однако это его не тревожило, он даже испытывал удовольствие от мерного беззаботного шага в тишине, от ощущения, как кровь согревает тело, наполняя его счастьем. Он вместе со своими товарищами был уверен, что здорово зарабатывает там, за водоразделом Вишневого ручья, ну а кроме того, ведь он возвращался к ним из Доусона со свежими письмами от родных из Штатов.

В семь часов начал он шагать в своих мокасинах от лагеря Калюме. Тогда еще было темно. А к половине десятого, когда рассвело, он уже отмахал четыре мили по прямой и находился милях в шести от устья ручья Пол. Тропа — по ней, видно, мало ходили — пролегала по руслу ручья, и заблудиться было невозможно. В Доусон он пришел по Вишневому ручью и Индейской реке, поэтому ручей Пол был ему незнаком. В половине двенадцатого он подошел к развилке, о которой ему говорили, теперь, по расчетам, половина дороги — пятнадцать миль — осталась позади. Но вторая половина — так всегда бывает — дается труднее, он знал об этом и решил, что вполне заработал свой ланч. Сбросив рюкзак и присев на упавшее дерево, он снял рукавицу с правой руки, залез к себе за пазуху, до самой нижней рубашки, и выудил две завернутые в носовой платок лепешки, между ними лежал ломоть ветчины — только таким способом можно было сохранить еду от превращения ее в ледышку.

Не успел он прожевать и первый кусок, как начали коченеть пальцы. Том натянул рукавицу. Рука замерзла мгновенно. Нет, это был, конечно, самый лютый мороз, какой ему доводилось чувствовать.

Он сплюнул на снег, и резкий щелчок упавшего, внезапно замерзшего плевка испугал его. Когда он выходил из Калюме, спиртовой термометр показывал шестьдесят градусов ниже нуля, те-

перь же, он был уверен, стало гораздо холоднее, но насколько — он не знал.

Он не съел и половины лепешки, а уже почувствовал озноб. Это его поразило. Так не пойдет, решил он и, накинув на плечи лямки рюкзака, встал, чтобы пробежаться по тропе.

Несколько минут бега согрели его, и он перешел на широкий шаг, дожидая на ходу лепешку. Пар от дыхания инеем осаждался у него на губах и усах, корочки льда образовались на подбородке. Щеки и нос поминутно немели, и он оттирал их, пока они не начинали гореть от прилива крови.

Большинство мужчин носило наносники, так поступали и его приятели, но он лично презирал эти «бабские штучки», до сего дня он не видел в них нужды. А вот сейчас наносник бы пригодился — ему не пришлось бы тереть лицо непрерывно.

И все-таки он испытывал прилив радости, подлинного торжества. Ведь он делал дело, чего-то добивался, побеждал стихию. Один раз от полноты жизненных сил он даже громко засмеялся и, сжав кулак, погрозил морозу. Он его одолел.

Все, что он делал, он делал вопреки лютой стуже, которая не в силах была его остановить. Человек шел вперед, к водоразделу Вишневого ручья.

Стихия сильна, но он сильнее. Даже звери в такую пору забрались в норы и затаились. А он не прячется. Он идет навстречу стихии, вступает с ней в борьбу. Он человек, хозяин природы.

Так, охваченный гордой радостью, он шел вперед. Через час он уже был у излучины, где ручей протекал близко к горам, и здесь столкнулся с самой коварной и самой страшной опасностью, какая только может поджидать путника на Севере.

Сам ручей промерз насквозь до своего скалистого дна, но у горных склонов били ключи. Они не замерзали даже в самый свирепый мороз, он лишь ослаблял их, но не мог сковать. Укрытая от стужи снежным одеялом, ключевая вода просачивалась на лед ручья и образовывала на нем неглубокие озерца.

Поверхность этих озер в свою очередь подвергивалась ледяной коркой, которая вначале утолщалась, а затем поверх нее снова наливалась вода, образуя над первым второе озеро с новой коркой льда.

Внизу был лед ручья, потом дюймов шесть-восемь воды, потом тонкая ледяная корка, потом еще шесть дюймов воды и опять новая ледяная корка. А поверх этой последней корки лежало с дюйм свежего снега, который прикрывал эту западню.

Нетронутый снежный покров ничего не сказал Тому Винсенту о таящейся опасности. Поскольку у края верхняя корка льда была толще, он дошел почти до середины и там провалился.

Само по себе это происшествие, как казалось, не было столь уж серьезным: ведь человек не может утонуть на двенадцатидюймовой глубине, но по своим последствиям это было несчастье, самое серьезное, какое только могло случиться.

Едва почувствовав жгучий холод воды на своих ступнях и голени, он в несколько прыжков достиг берега. Он не растерялся и мгновенно сообразил: главное, что немедленно нужно сделать, — это разжечь костер. Ибо другой закон Севера гласит: *делать переход в мокрых носках допустимо только при температуре не более двадцати градусов ниже нуля; в противном случае следует просушиться*. А сейчас было раза в три холоднее, уж никак не меньше, он был уверен.

Кроме того, он знал, что костер следует разводить с большими предосторожностями, так как при неудачной первой попытке у второй меньше шансов на успех. Короче говоря, он знал, что неудачи не должно быть. Всего лишь несколько мгновений назад он был сильный человек, гордившийся своей властью над стихией, теперь он защищал свою жизнь от той же самой стихии — так разительна была перемена, внесенная литром воды в планы путешественника на Севере.

У самого берега в группе сосен с весеннего половодья осталось много сучьев и веток. Просушенные летним солнцем, они вспыхнут от первой же спички. Но в громоздких арктических рукавицах костра, конечно, не разожжешь, поэтому Винсент снял их, сгреб побольше веток и, отряхнув с них снег, сложил костер. Из внутреннего кармана он вытащил спички и тоненький кусок бересты. Спички были серные, специальные клондайкские, сотня в пачке.

Он сразу почувствовал, как быстро замерзли пальцы, пока он вынимал спичку из пачки и тер ее о штаны. Береста вспыхнула ярким пламенем, как сухая бумага. С величайшей осторожностью стал он обкладывать ее веточками и сухой травой, заботливо поддерживая огонь. Торопиться ни в коем случае не следовало, уж это он хорошо знал, и он не спешил, хотя пальцы у него совсем окоченели.

После непродолжительных острых покалываний его ступни ныли какой-то тупой болью и быстро теряли чувствительность. Но огонь! Хотя еще и очень слабый, это был уже успех; он знал, что пригоршня снега и энергичное растирание быстро вылечат его ноги.

Но в тот миг, когда он начал подкладывать в огонь первые сучки, случилось странное. Над его головой нависали сосновые сучья, они все прогнулись от груза снега, скопившегося за четыре месяца снегопадов. Этот груз был так велик, что было достаточно слабого движения путника, когда он подбирал ветки, чтобы нарушить равновесие.

Первым сдвинулся ком с верхнего сука, сбивая и увлекая за собой снег с нижних сучьев. И вся эта снежная груда, возросшая при падении, обрушилась на голову Тома Винсента и погребла его костер.

И все же, хотя он знал, как велика свалившаяся на него беда, он сохранил присутствие духа. Он сразу же принялся заново раскладывать костер. Но пальцы у него так занемели, что не гнулись, и ему приходилось каждую веточку поднимать, зажав кончиками пальцев обеих рук.

Когда дело дошло до спичек, ему стоило невероятных усилий извлечь спичку из пачки. В конце концов, опять же с большим трудом, он зажал спичку большим и указательным пальцами. Но, пытаясь чиркнуть ею, он уронил ее в снег, да так и не смог поднять.

Он встал, в отчаянии. Ступни уже не болели, правда, лодыжки сильно ныли. Надев рукавицы, он отступил в сторону настолько, чтобы снег не засыпал новый костер, который он собирался разжечь, и принялся ожесточенно колотить руками по стволу дерева.

Это вернуло рукам подвижность, он смог вытащить еще одну спичку и поджечь оставшийся у него кусочек бересты. Но тело его начало замерзать, и руки дрожали, поэтому, когда он подкладывал ветки, он повернул бересту, и слабое пламя потухло.

Мороз одолевал его. Руки теперь не действовали. Но все же, прежде чем натянуть рукавицы и броситься в панике по тропе, он на всякий случай сунул пачку спичек в оттопыренный наружный карман. Нет, в шестидесятиградусный мороз идти с промокшими ногами нельзя, мелькнула у него мысль.

Он круто повернул к тому месту ручья, откуда было видно на милю вперед. Но помощи ждать было неоткуда: кругом ни души, только белые деревья и белые холмы, смертельный холод и мертвое безмолвие! Эх, если бы рядом был товарищ с сухими ногами, подумал он, только товарищ мог разжечь костер и спасти его!

В тот миг он заметил новое скопление хвороста, оставшееся после разлива. Если бы только ему удалось зажечь спичку, все еще могло бы устроиться. Окоченевшими, негнущимися пальцами он вытащил пачку спичек, но вынуть спичку не смог.

Он сел и неуклюже стал поворачивать всю пачку на коленях до тех пор, пока она не улеглась в его кисти так, что серные головки торчали наружу, как лезвие ножа, когда зажмешь его в кулаке.

Но его пальцы оставались прямыми. Они не хотели сжиматься. Тогда он надавил на них другой рукой и заставил согнуться в кулак. Держа пачку обеими руками, он тер и тер ее о ногу, пока спички не загорелись. Но пламя обожгло кожу на руке, и он невольно разжал руку. Спички упали в снег и, пока он безуспешно пытался поднять их, зашипели и погасли.

Он снова побежал, на этот раз в странном испуге. Ступни у него совершенно онемели. Он зацепился за вмерзшее в лед бревно, упал в снег и почувствовал боль в спине, но ног он не чувствовал.

Пальцы на руках окоченели, начали неметь и кисти рук. Нос и щеки уже были обморожены, но они не в счет. Спасти его могли только руки и ноги, если, конечно, ему суждено спастись.

Он вспомнил, что ему говорили о лагере охотников на лосей, расположенном выше развилки ручья Пол. «Это должно быть где-то неподалеку», — подумал он. О, если бы только ему удалось разыскать лагерь, он был бы спасен. Минут через пять он нашел этот лагерь, но пустым и безлюдным; в сделанные из сосновых сучьев шалаши, где охотники ночевали, намело снегу. Том опустился на снег и заплакал. Все было кончено. В лучшем случае через час при такой страшной температуре он превратится в обледенелый труп.

Однако любовь к жизни была в нем сильна, и он вновь поднялся. Мозг работал четко. Ну и пусть спички обжигают руки. Обожженные руки лучше, чем мертвые. Даже потеря рук лучше, чем смерть. Он пошел по тропе, пока не нашел новую грудку хвороста, оставленную половодьем. Здесь были ветки, сучья, листья и трава — все сухое, словно просилось в огонь.

Он сел и снова стал орудовать на коленях со связкой спичек. Уложил ее на ладони, запястьем другой руки заставил бесчувственные пальцы охватить связку. Связка загорелась со второго раза. И он знал, что если вытерпит, то спасен. Серный дым перехватывал дыхание, синее пламя лизало плоть его рук.

Поначалу он не чувствовал боли, но жар быстро проник сквозь замерзшую кожу, и он ощутил острый запах горящей плоти — его плоти. Он скорчился от мучительной боли, но не разжал рук. Сжав зубы, он покачивался взад-вперед до тех пор, пока пламя не стало ярким и белым, тогда он поднес это пламя к травинкам и листьям.

Прошло пять тревожных минут, огонь постепенно разгорелся. Только теперь он смог приступить к делу. Нужно было спастись.

Дорога́ была каждая секунда, требовались героические усилия, и он не стал терять времени.

Попеременно, то натирая руки снегом, то опуская их в пламя, а потом стуча ими о ствол дерева, он восстановил ток крови и наконец смог ими действовать. Охотничьим ножом он рассек ремни рюкзака, раскатал одеяло и вынул сухие носки и обувь.

Затем он разрезал свои мокасины и разулся. Позволить себе обращаться с ногами так же бесцеремонно, как с руками, он не мог; он отодвинулся от костра и стал растирать их снегом. Он тер их до тех пор, пока не коченели руки, тогда он обматывал ноги одеялом, согревал руки у огня и снова принимался за растирание.

Так он работал часа три и только тогда почувствовал, что самое опасное позади. Всю ночь он просидел у костра, а к концу следующего дня, хромая от боли, он вошел в лагерь у водораздела Вишневого ручья.

Через месяц он смог ходить, правда пальцы на ногах остались навсегда болезненно чувствительными к холоду. А шрамы на руках он, по его словам, так и унесет с собой в могилу. *«Ни в коем случае не пускайтесь в путь без товарища!»* — так формулирует Том Винсент закон Севера.

1901, опубл. 1902

ТУМАННАЯ ХВОРЬ ХУКЛА-ХИНА

Хукла-Хин затаился в высокой влажной траве — то ли на корточках, то ли на коленях. Сидел он в полной неподвижности, хотя пробыл здесь уже целый долгий час. В руках у него был длинный узкий натянутый лук, заряженный стрелой с зазубренным костяным наконечником, и весь он казался бы каменным изваянием, если бы не выражение орлиной настороженности на лице. По правде говоря, только в такие минуты Хукла-Хин и жил по-настоящему. Ноздри рассказывали ему все как есть о мире растущей зелени, о набухших ивовых почках и о трепетавших осинах на краю отлогого берега, о крупной алой малине, которой было полным-полно в кустах у него за спиной, — и он знал, что справа от него, в укромном местечке, до которого было всего с десяток шагов, наверняка находятся заросли яркой, но ядовитой смолевки.

Чувства многое ему говорили. Он ощущал, как влага, покрывающая траву, понемногу пропитывает его штаны из лосиной кожи

и леденит колени, а по овевавшему лоб дуновению понимал, что легкий ветерок набирает силу в бледном лунном свете. Уши его различали низкий гул, исходявший от земли, — шелест листьев и травы, крики белок и пернатой дичи, мириады звуков бесчисленных насекомых.

Но главным среди них был один звук, от которого лицо Хукла-Хина выжидательно напряглось. Прямо перед ним спутанные ветки и сучья, составлявшие незатейливый узор, перегородили болотистый ручеек, образовав мелкую запруду. Через брешь в плотине с бульканьем струилась вода. Однако не этот звук привлек внимание Хукла-Хина. Откуда-то сверху до него донеслось негромкое отрывистое шлепанье по земле, а потом кто-то шумно плюхнулся в ручей. Затем снова настала тишина, и Хукла-Хин неотрывно глядел на брешь, сквозь которую вытекала вода.

Но тут его потревожил новый звук. Далеко-далеко внизу глухо заскулила собака и треснула сломанная ветка. Хукла-Хина это раздосадовало, однако на лице его не дрогнул ни один мускул — он весь превратился в слух. Сверху, ближе, чем прежде, донесся тихий всплеск, а снизу — треск еще одной сломанной ветки, тоже ближе, чем прежде.

Эти приближавшиеся звуки словно соперничали друг с другом, и Хукла-Хину хотелось, чтобы победил тот, который доносился с воды. Так и вышло: по поверхности запруды побежала рябь и через дыру в плотине выплыло полено. Хукла-Хин различил, что его толкает вперед крупная крысообразная голова с маленькими округлыми ушками, так тесно прижатыми, что их почти не было видно в шерсти.

Хукла-Хин бесшумно опустил лук и стал ждать. Зверь толкал полено, пытаясь перекрыть дыру. Когда у него это не получилось, он опасливо выбрался из воды на плотину, показав три лапы и тело, покрытое мехом густого каштанового оттенка. Внизу треснула ветка — и зверь настороженно привстал на задних лапах и прислушался. В этот миг Хукла-Хина охватил трепет от сознания того, что он достиг цели, что он сделал дело и сделал его хорошо, — ведь стрела пронеслась в лунном свете, пропев свою визгливую песнь, и пронзила зверя, который знал, что так свистит его смерть.

Тогда мальчик — ибо Хукла-Хин мог похвастаться всего лишь двенадцатью прожитыми годами, — вскочил и испустил радостный крик. Снизу донесся такой же крик, оглушительный хруст в подлеске ответил Хукла-Хину, и, когда он нагнулся и поднял убитого бобра за широкий плоский хвост, из кустов выскочил и зашагал к нему по траве другой мальчик.

— Ну как, эта старая серая морда теперь твоя? — взволнованно спросил он.

— Да, — холодно отвечал ему Хукла-Хин, таё ликование под маской бесстрастия. — Да, эта старая серая морда теперь моя, но ты, Кланик, мне только мешал — нечего было топтать по земле, будто сленой лось, и поднимать такой шум!

Я ступал как можно тише, — возразил второй мальчик, слегка задетый этим упреком.

Еще и пес у тебя скулил!

— Сломанный Клык увязался было за мной, но я прогнал его обратно, — сказал Кланик. — А ты знаешь, что племя собирается вниз по реке — посмотреть белых людей на Юконе? — с жаром продолжил он.

Услышав это, Хукла-Хин пустился в веселый пляс. Кланик схватил его за руки, и они кружились и вертелись на берегу, пока от переизбытка восторга пляска не перешла в борьбу и мальчики запыхтели, напрягая все силы. Наконец Кланик поскользнулся на бобровом хвосте, и Хукла-Хин, воспользовавшись случаем, внезапно повалил друга на спину и прижал к влажной земле. Затем они вскочили, хохоча, и двинулись по тропинке к становищу, вместе таща увесистого бобра.

По дороге Кланик рассказал, что было на совете. Кутцналу, один из храбрейших охотников, прошлой осенью отправился странствовать и после долгой отлучки вернулся с невероятными рассказами о белых людях. Он спустился по Белой реке гораздо дальше, чем доводилось заходить племени, — до самого великого Юкона и чудесного города Доусон. На совете он говорил о том, как много у племени накоплено шкур, о том, как высоко ценятся они у белых людей, и о своем замысле спуститься по реке к Доусону и обменять эти шкуры на несметные богатства — ружья, одеяла и алые ткани.

Однако против него выступил Я-ку, врачеватель. Всем было известно, что он тоже побывал однажды у белых людей и точно знал, что белые люди очень злые. Это Кутцналу отрицал: белые люди, говорил он, очень добрые, и разве не подтверждение тому прекрасное новое ружье, с которым он вернулся?

Спорам не было конца. Многие из тех, кто никогда не видел белых людей, соглашались с Кутцналу. Больше того, всем не терпелось получить такие же прекрасные новые ружья. Отец Хукла-Хина Кау-Вай, их вождь, также встал на сторону Кутцналу, и Я-Ку, хоть и был врачевателем племени, волей-неволей уступил. Порешили, что через два дня — ведь уже настало лето и реки освободи-

лись ото льда — все племя, мужчины, женщины и дети, нагрузят каноэ и отправятся в чудо-город.

Когда Кланик окончил свой рассказ о том, что происходило на совете, мальчики некоторое время шли в молчании. Затем Кланик веско произнес:

— Только не надо думать, что белые люди все белые — с ног до головы, и руки, и лицо, и все остальное.

Да-да, рассеянно ответил Хукла-Хин, — и глаза у них цвета летнего неба, когда на нем нет облаков.

Кланик взглянул на него с любопытством — ему было известно, как много у Хукла-Хина странностей, о которых сам Хукла-Хин не подозревал, странностей, о которых Кау-Вай и Я-Ку запрещали даже упоминать.

Однако Хукла-Хин продолжал:

— А женщины у них нежные и прекрасные, и волосы у них желтые, желтые-прежелтые, и я часто вспоминаю...

Вдруг он остановился и взглянул в удивленные глаза приятеля.

— Что ты вспоминаешь? — тихо спросил Кланик. — Ведь ты никогда не видел белых людей и их женщин.

— Я помню...

— Недаром прозвали тебя Хукла-Хин, сновидец.

— Да, я вижу сны. — Хукла-Хин печально покачал головой. — Верно, я вижу сны.

Он помахал рукою перед собой, словно развеивал видение, и после этого до самого становища они хранили молчание. Но когда Хукла-Хин забрался в свою меховую постель и укрылся медвежьей шкурой, то не мог закрыть глаза и сон никак не шел к нему. Старая болезнь, *ком-та-нич-и-виан*, сновидческая хворь, снова одолела его, — а он-то думал, что давно перерос ее. Когда он был маленьким, эта болезнь заставляла детей в страхе сторониться его и заволакивала слезами глаза скво, смотревших на него. Сновидческая хворь — как отравила она его детство!

Разумеется, все видят сны, и люди, и даже псы, но те видят сны, когда спят, с закрытыми глазами, а Хукла-Хин видел сны наяву, когда бодрствовал. И все люди видят сны о том, что знают, об охоте и о рыбалке, а Хукла-Хин видел сны о том, чего не знал, — и о том, чего не ведал никто. Его преследовали воспоминания о том, что он не мог выразить словами, и ему казалось, что стоит хорошенько припомнить прошлое — и все прояснится, но, как он ни старался, припомнить прошлое не выходило.

В такие моменты он чувствовал себя как во время речной лихорадки — голова у него кружилась, глаза слезились, перед ними все

плыло, а пальцы, казалось, разбухали, становились вдвое толще обычного, делались неестественно большими и туманными. Точно, вот оно, верное слово, — туманные! Именно таким туманом заволакивало его голову, когда он старался припомнить прошлое.

А потом он постепенно перерос свою болезнь и забыл о ней, и она покинула его. Врачеватель Я-Ку при всех прочел над ним заклинание, умолил злых духов покинуть его, а потом наедине посоветовал не пытаться впредь ничего припоминать, иначе не миновать беды. И Хукла-Хин повиновался, и все это закончилось. А теперь вернулось снова. Нет на свете мальчика несчастней! Хукла-Хин порывисто стиснул руки и часы напролет слепо глядел в раскинувшийся над ним мрак.

Вождь Кау-Вай плыл в своем каноэ впереди племени, Хукла-Хин и Кланик были при нем. Весь день скользили они вниз по Юкону, огибали огромные излучины, но к берегу не приставали. Еще утром они миновали место, где яростно палили из ружей люди — белые люди. Кутцналу подгрел к каноэ Кау-Вая и объяснил, что таков, по его мнению, обычай белых людей, хотя за все время, которое он пробыл среди них, он ничего подобного не видел. Однако, поразмыслив немного, они засомневались, что это просто обычай, решили не искушать судьбу и поплыли дальше, в Доусон.

Приступы сновидческой хвори терзали Хукла-Хина целый день, а особенно тяжелый припадок случился, когда он глядел, как белые люди вдали палят из ружей. Голову заволокло таким туманом, что ничего было не различить. А еще Хукла-Хина тревожило чувство, что вот-вот что-то должно случиться, но что — он не знал.

Он попробовал было рассказать об этом Кланику, но тот лишь буркнул:

— Что ты как маленький? Никто тебя не съест!

И тогда Хукла-Хин умолк, хотя был уверен, что ничего не боится. Просто очень волнуется из-за того, что должно случиться, — неведомо что.

К полудню флотилия проскочила между высокими утесами и сделала крутой поворот. Здесь в Юкон катила свои бурные воды река Клондайк, и именно здесь их потрясенным взорам внезапно предстал Доусон.

Докуда хватало глаз, от берега реки до склона горы, раскинулось целое море хижин и палаток. И это море жилищ переливалось через берег реки в воду — вдоль берега на полторы мили тянулись шлюпки, и плоскодонки, и ялики, и шаланды, и каноэ, и большие

плоты, нагруженные провиантом и всевозможным имуществом. Их было так много и они появились так внезапно, что у старого вождя Кау-Вая захватило дух и он только и мог, что смотреть на все это в немом изумлении.

Хукла-Хин едва не задышался от окутавшего его сознание тумана. Он бросил весло и поспешно стиснул виски обеими руками. Ох, если бы он только понимал! Что же все это значит?

Кланик сердито прикрикнул на него за то, что он пропустил гребок, и Хукла-Хин собрался с силами и овладел собой. Они подплыли ближе к берегу и оказались неподалеку от казарм, где были расквартированы силы Северо-Западной конной полиции и развевался британский флаг.

Хукла-Хин показал на него и произнес:

— Это — *флаг*.

— Откуда ты знаешь, сновидец? — удивился Кланик.

Но Хукла-Хин не слышал его. Они проплыли мимо огромной баржи, где помещались крупные животные — размером с могучего лося. При виде их женщины испугались, и несколько каноэ свернули на глубину, уступая барже дорогу.

— А эти звери какой породы? — лукаво поинтересовался Кланик.

— Это... — Хукла-Хин умолк на миг, а потом уверенно договорил: — Это — *конь*.

— Верно, — согласился Кутцналу, плывший бок о бок с ними, — это кони. Я уже видел их, они безобидные. Но откуда ты это знаешь, о Хукла-Хин?

Хукла-Хин покачал головою и налег на весло, и каноэ свернули к причалу. Быстро пришвартовавшись, племя взобралось по крутому берегу и вышло на открытое пространство между хижинами. Повсюду развевались флаги, но не такие, как над казармами, и повсюду были люди, они палили в воздух из ружей и револьверов и кричали как безумные.

Огромная толпа заполонила площадь, и, когда индейцы с круглыми от изумления глазами расположились по ее краям, шум утих и на штабель дров в центре поднялся человек и заговорил. То и дело он показывал на флаг, развевавшийся у него над головой, и его постоянно прерывали аплодисментами, громкими, раскатистыми возгласами и ружейной пальбой. Тогда он умолкал и отпивал воды из стеклянного стакана, который стоял на ящике рядом с ним.

— Ой-ой! — вскрикнул Хукла-Хин, отчаянно пытаясь поймать призраков, порхавших у него в голове.

— Какой странный мальчик, совсем не похож на индейца, — заметил человек в грязноватой шерстяной куртке, после чего вытащил блокнот и начал там что-то писать.

Хукла-Хин бросил на него взгляд, хотя и не понял, что тот сказал, но тут же сновидческая хворь накатила на него с новой силой.

Спутник человека с блокнотом, одетый в форму лейтенанта Конной полиции, вынул изо рта сигару и воскликнул:

— Ей-богу, он же не...

Но тут какой-то рыжий парень поднес зажженный трут к шнуру, обвинявшему несколько сотен тонких красных трубочек. И бросил все это на землю. Последовали ослепительная вспышка, треск и грохот, и все индейцы во главе с Я-Ку в ужасе отпрянули.

Один Хукла-Хин остался стоять на месте. Его вдруг охватила какая-то легкость, будто дымка поднялась от земли и яркое солнце отчетливо высветило все вокруг. Туман покинул его.

— Фейерверки! — воскликнул он, танцуя под аккомпанемент разрывов. — Фейерверки! Четвертое июля! Ура! Ура!

Когда пальнул последний фейерверк, Хукла-Хин опомнился, вздрогнул и побагровел под загаром. И робко огляделся по сторонам. Соплеменники вернулись и теперь с любопытством посматривали на него. Однако Кау-Вай уставился прямо перед собой, и лицо его было печально. Но тут к Хукла-Хину подошли лейтенант и тот человек с блокнотом.

— Как тебя зовут? — Лейтенант схватил его за руку.

— *Джимми*, — ответил мальчик, как будто не было ничего естественнее. И тут на него снова накатил туман, и Хукла-Хин сам не понимал, почему произнес это странное слово. Он же не понял, о чем спросил его тот человек. И что это значит — «Джимми»? Почему он так сказал?

— Джимми — а дальше? — допытывался лейтенант.

Хукла-Хин покачал головой. Он не понимал, что говорит белый человек. Кроме того, соплеменники встревоженно толпились вокруг, а Я-Ку тянул его прочь за рукав.

— Сколько тебе лет?

Хукла-Хин опять покачал головой, но на сей раз добавил: «Белая река», будто от этого мог быть толк.

— Да, с Белой реки, — подоспел на помощь Кутцналу — он был рад случаю сыграть роль переводчика. — С Белой реки, где верх.

— А, вы с Белой реки?! — с неожиданным удивлением переспросил лейтенант. А затем, обращаясь к своему спутнику, спросил: — Доуз, сколько бы вы ему дали?

— Я бы сказал, лет двенадцать-тринадцать, — рассудил Доуз.

Лейтенант принялся считать вслух:

— Лето девяносто первого, зима девяносто второго... четыре года и еще восемь — получается двенадцать... — Он осекся, а потом закричал: — Доуз! Доуз! Это тот мальчик, точно он! Держите его! Держите его крепко — умоляю!

И не успел Хукла-Хин сообразить, что происходит, как лейтенант рванул у него на груди рубаху из мягкой беличьей кожи, и та треснула у него в руках. Я-Ку попытался было загородить собой мальчика, но лейтенант грубо оттолкнул его. Среди индейцев послышался ропот, затем рык, сверкнули выхваченные из ножен клинки, защелкали ржавые затворы. Однако Кау-Вай резким приказом остановил их.

— Взгляните! Он же белый! — Лейтенант показал на голую грудь Хукла-Хина.

Доуз всмотрелся и покачал головой.

— По мне, так совершенно черный.

— Да это же от солнца! — нетерпеливо воскликнул лейтенант, раздирая рубаху в клочья и отшвыривая их прочь. — Под мышками, дружище! Под мышками, где его не тронул загар!

— Белый! — с внезапной уверенностью закричал Доуз. — Что нам делать?

— Делать? Я вам покажу! — Лейтенант жестом подозвал рыжего парня, который увлеченно следил за происходящим. — Эй ты, малыш! Беги приведи мне Джима Макдермота. Он вон там, в той толпе. Пяти минут не прошло, как я его там видел.

Рыжий парень кинулся прочь, а Хукла-Хин смотрел ему вслед — он ничего не понимал, но твердо знал: то, что должно было случиться, случилось.

Кутцналу взволнованно тараторил что-то лейтенанту, а тот кивал в ответ на каждое слово и иногда задавал краткие, резкие вопросы.

— Послушайте, старина, послушайте, объясните, в чем дело! — вмешался Доуз, достав блокнот и занеся над ним карандаш.

— Макдермот, Джим Макдермот! — торопливо ответил лейтенант. — Он здесь старожил. Старатель-везунчик, у него по меньшей мере два миллиона. Раньше работал на Коммерческую компанию Тихоокеанского побережья. В девяносто четвертом прибыл с партией старателей с западного побережья Аляски и привез с собой сына. Жена должна была приехать обычным путем на следующий год. Неведомая земля. Первые белые люди, которые на нее ступили, первые и последние. Страшное время. Едва не умерли от голо-

да. То есть двое умерли. Они были самые слабые, поэтому их оставили присматривать за сынишкой Макдермота, пока сам Макдермот и прочие отправились на охоту. Как-то раз он говорил, что через три дня, когда он добыл лося и вернулся, он нашел окоченелые трупы тех двоих, а мальчик пропал.

— Мальчик пропал?! — Карандаш Доуза завис в воздухе.

— Да, пропал, как не бывало. Лагерь находился на берегу, и Макдермот решил, что мальчик, верно, выбрался на берег и свалился в воду. Но теперь складывается впечатление, что какой-то индеец высадился с каноэ, нашел два трупа, а выжившего мальчика увез с собой. Такое Макдермоту, конечно, и присниться не могло... но вот и он.

Хукла-Хин проследил за взглядом лейтенанта и увидел высокого чернобородого человека. И чудо! О чудо! Это был призрак из его снов — но призрак из плоти и крови! Хукла-Хину вдруг снова стало легко-легко, и туман отхлынул от него.

— *Па-па!* — закричал он. — *О, па-па!* — И бросился ему в объятия.

Последовали десять минут полного замешательства — все разом пытались что-то объяснить. Хукла-Хин ничего не запомнил, кроме того, что раз или два человек, которого он назвал «па-па», нагнулся и поцеловал его и все сильнее и сильнее стискивал ему руку. Затем человек что-то ему сказал и повел его прочь, все так же крепко держа за руку, но Хукла-Хин не понял, что происходит, и остановился.

Человек что-то сказал Кутцналу, и тот перевел Хукла-Хину:

— Этот человек ведет тебя к женщине — белой женщине.

— Спроси его, не желтые ли у нее волосы, — потребовал Хукла-Хин.

И когда Кутцналу перевел это, лицо человека осветилось радостью, и он нагнулся и снова поцеловал Хукла-Хина, и еще раз, и еще.

Кау-Вай стоял в стороне и молчал, упорно глядя прямо перед собой, как будто не видел, что здесь делается. Был он полон благородства и достоинства — и печали, заметной даже на сторонний взгляд.

Хукла-Хин повернул голову — и бросился к нему, с глазами, полными слез. А потом замер в нерешительности, глядя то на одного, то на другого.

— Скажите ему — скажите им, что они еще увидят мальчика, — велел Макдермот Кутцналу. — И скажите ему, что он всегда будет их помнить и что им всегда будут рады у нашего с ним очага. И до-

бавьте, что они получают подобающую награду — и награда эта будет щедрой.

То, что должно было случиться, случилось. Хукла-Хин понимал, что теперь ему можно двинуться вверх по склону, держа за руку этого высокого чернобородого человека. Ибо он знал, что идет к женщине, нежной и прекрасной, к женщине, которую он часто вспоминал, к женщине с желтыми волосами.

1901, опубл. 1902

СТАРATEЛИ СЕВЕРА

Где пляски северных огней
На бесприютном снеге...¹

— Иван, бросай это дело, дальше — ни ногой. И помалкивай, иначе беда. Едва американцы с англичанами узнают, что у нас в горах есть золото, нам конец. Они повалят сюда тысячами и припрут нас к стенке, затопчут насмерть!

Так говорил бывший русский губернатор Баранов² в городе Ситка в 1804 году охотнику-славянину, который только что вытащил из кармана горсть золотых самородков. Баранов, торговец мехами и местный самодержец, догадывался о возможных последствиях и страшился прихода неукротимых, суровых старателей англосаксонских кровей. Поэтому он не дал новостям хода, как и его преемники-губернаторы, и когда в 1867 году Соединенные Штаты купили Аляску, то лишь ради мехов и рыбы — они и не подозревали, какие сокровища таятся в ее недрах.

Но едва недра Аляски перешли в распоряжение Америки, как тысячи наших искателей приключений двинулись на Север — и по суше, и по воде. Это были люди «золотых деньков», уроженцы Калифорнии, берегов реки Фрейзер³, гор Кассиар и Карибу⁴. Безграничная и необъяснимая вера убеждала старателей, что золотая жила, которая тянется через обе Америки от мыса Горн до Калифор-

¹ В эпиграфе — слегка видоизмененные строки из «Баллады о трех котиколовах» (1892–1893) Киплинга.

² Александр Андреевич *Баранов* (1746–1819) — российский государственный деятель, предприниматель, первый губернатор Русской Америки в 1790–1818 гг.

³ *Фрейзер* — главная река Британской Колумбии, протяженностью 1370 км.

⁴ *Кассиар, Карибу* — горные хребты на севере Британской Колумбии.

нии, в Британской Колумбии не «уходит под землю». Они были свято убеждены, что она продолжается дальше на Север — и «Дальше на Север!» стало их кличем. Времени они не теряли — и уже в начале семидесятых, оставив Тредвелл и долину Серебряная Чаша¹ своим последователям, углубились в снежную целину. На Север, все дальше и дальше на Север пробивались они — и вот наконец зазвенели кирки о промерзший берег Северного Ледовитого океана и запылали на красных песках Нома костры, разожженные из славного леса, возле которых дрожали от холода старатели.

Чтобы вполне оценить весь размах этой авантюры, следует подчеркнуть, как далеко Аляска расположена и насколько недавно она открыта. Внутренняя часть Аляски и примыкающая к ней территория Канады были обширны и безлюдны. Сотни тысяч квадратных миль ее оставались неизведаны, как самые глухие уголки Африки, и точно так же отсутствовали на картах. В 1847 году, когда первые агенты Компании Гудзонова залива пересекли Скалистые горы со стороны реки Маккензи, чтобы вторгнуться во владения русского медведя, они думали, что река Юкон течет строго на север и впадает в Ледовитый океан. Однако в сотнях миль вниз по реке находились аванпосты русских купцов. Русские в свою очередь не знали, где Юкон берет начало, — и так обстояли дела до тех пор, пока и россы, и саксы не поняли, что живут на одной и той же великой реке. И вот прошло чуть больше десяти лет, и Фредерик Уимпер² прошел выше Великой излучины до самого Форт-Юкона у Северного полярного круга.

Английские торговцы перевозили свои товары от форта к форту — от Йоркской фактории³ на побережье Гудзонова залива до Форт-Юкона на Аляске, — и на всю дорогу уходило от года до по-

¹ Неточность Лондона: богатые прииски Золотой Ручей в долине *Серебряная Чаша*, в 4 км к северо-востоку от того места, где ныне находится город Джуно, и *Тредвелл* на юге острова Дуглас архипелага Александра, к западу от Джуно, были открыты только в 1880 и 1881 гг. соответственно и активно разрабатывались на протяжении нескольких последующих десятилетий.

² *Фредерик Уимпер* (1838–1901) — английский художник и путешественник, много странствовавший по Северной Америке. Весной-летом 1867 г. в составе экспедиции Российско-Американской телеграфной компании совершил плавание из Нулато в Форт-Юкон, которое затем описал в книге «Странствия и приключения в землях Аляски, бывшей Русской Америки, ныне переданной во владение Соединенным Штатам, и в различных других краях на севере тихоокеанского побережья» (1868).

³ *Йоркская фактория* — основанный в 1684 г. торговый пост и поселение на западном берегу Гудзонова залива, в устье реки Хейс; закрыт в 1957 г.

лутора. Один из тех, кто дезертировал по пути, и прошел вниз по Юкону до Берингова моря, став первым белым человеком, которому удалось по суше преодолеть Северо-Западный проход из Атлантического в Тихий океан. В те же годы было составлено первое точное описание значительного участка Юкона — это сделал доктор У. Х. Болл¹ из Смитсоновского института². Однако даже он так и не увидел истоков Юкона, и ему не довелось узреть своими глазами все чудеса этой великой природной магистрали.

Нет на свете другой такой примечательной, такой уникальной реки: она берет начало в озере Кратер³, в тридцати милях от океана, тянется на две тысячи пятьсот миль, проходит через самое сердце континента — и наконец впадает в море. Протащить судно волоком тридцать миль — а затем водная магистраль протяженностью приблизительно в одну десятую окружности Земли.

Уже в 1869 году Фредерик Уимпер, член Королевского географического общества, сообщил, что, по слухам, индейцы племени чилкат, вероятно, иногда следуют укороченным путем через Береговой хребет от побережья океана к истокам Юкона. Однако именно золотоискатель, рвавшийся все дальше и дальше на север, стал первым белым человеком, миновавшим страшный перевал Чилкут и зачерпнувшим воды из верховьев Юкона. Это произошло буквально позавчера — однако этот человек уже стал героем, окутанным ореолом легенд. Его звали Холт, и времена его похода уже сокрыты завесой древности. Называют разные даты — то ли 1872, то ли 1874, то ли 1878 год, — но прояснить это не удастся никогда.

Холт прошел до самой Хуталинквы, а по возвращении на побережье рассказал, что обнаружил золотой песок. Следующий золотоискатель, чье имя сохранила история, — некий Эдвард Бин, который в 1880 году повел партию из двадцати пяти человек из Сит-

¹ Написание «W. H. Ball», которое значитсЯ в оригинальном тексте очерка, явно представляет собой опisku Лондона либо опечатку. Автор, несомненно, имеет в виду Уильяма Хили Долла (Dall, 1845–1927), американского естествоиспытателя, зоолога и палеонтолога, научного сотрудника Смитсоновского института, путешественника, исследователя северных территорий, совершившего множество экспедиций на Аляску (во время первой из них он плавал вверх по Юкону вместе с Уимпером) и написавшего о ней ряд книг, среди которых — «Аляска и ее ресурсы» (1870), по-видимому, и подразумеваемая Лондоном.

² Смитсоновский институт — научно-исследовательский и образовательный институт и принадлежащий ему комплекс музеев в Вашингтоне; основан в 1846 г. решением Конгресса США на средства, завещанные американской нации английским ученым Джеймсом Смитсоном, чьим именем он и назван.

³ Ошибка Лондона: имеется в виду озеро Марш.

ки в нехоженые края. И в том же году другие партии (теперь они забыты — кто помнит о странствиях старателей или хотя бы слышал о них?) преодолели перевал, на месте построили лодки и поплыли по Юкону и дальше на север.

А затем четверть века неведомые, невоспетые герои сражались с вечной мерзлотой и наугад искали золото — они точно знали, что оно залегает где-то в сумраке Северного полкся. В борьбе со страшными, безжалостными силами природы они снова обратились к первобытной жизни: одевались в звериные шкуры, обувались в моржовые муклуки и мокасины из лосиной кожи. Они забывали цивилизованный мир и его обычаи — впрочем, и мир забывал о них; они питались мясом тех животных, каких удавалось добыть, пировали в тучные времена и голодали в тощие — и неустанно искали желтую приманку. Они прочесали те края во всех направлениях, проплыли по бесчисленным рекам, не занесенным на карты, в утлых берестяных каноэ, проложили на лыжах и на собаках тропы через тысячи миль белого безмолвия, где еще не ступала нога человека. Они пробивались вперед под северным сиянием и полуночным солнцем, при температурах, колебавшихся от плюс ста¹ до минус восьмидесяти, и питались тем, что с горьким юмором тех мест называли «заячьим следом да лососевыми потрохами».

Сегодня можно сотню дней идти в сторону от торной тропы — и только поздравишь себя, что нашел нетронутую землю, как наткнешься на обветшалую, полуразвалившуюся хижину и забудешь о досаде, задумавшись о том, кто же сложил этот сруб. И все же, если уйти от торной тропы совсем далеко и совсем в сторону, может повезти — и тогда ты найдешь несколько тысяч квадратных миль, которые окажутся в полном твоём распоряжении. Правда, как далеко ни заходи, как ни сворачивай от торной тропы, всегда остается шанс, что наткнешься даже не на заброшенную хижину, а на обитаемую.

Нет лучшего примера подобной встречи — и нет лучшего доказательства того, как бескрайни те земли, — чем случай с Гарри Максвеллом. Максвелл был опытный моряк, но когда он плыл из Нью-Бедфорда в штате Массачусетс, его корабль — бриг «Фанни Э. Ли» — оказался затерт в арктических льдах. Перебираясь с одного китобойного судна на другое, Максвелл летом 1880 года все же достиг мыса Барроу. Он побывал на самой северной оконечности Северной страны и решил, что из этой отправной точки двинется на юг, вглубь материка, на поиски золота.

¹ 37 °С выше нуля.

Максвелл пересек горы за Форт-Макферсоном¹ и в двух сотнях миль к востоку от Маккензи выстроил хижину и устроил в ней свой штаб. И там девятнадцать лет кряду он добывал себе пропитание охотой и разведывал золото. Он бродил от вечных льдов на севере до самого Большого Невольничьего озера на юге. Там он и повстречал Уорбертона Пайка², писателя и исследователя, и считает теперь, что этот случай стал главным среди немногих событий его одинокой жизни.

Когда этот моряк-золотоискатель накопил золотого песка на двадцать тысяч долларов, то решил, что и в цивилизации есть свои привлекательные стороны, и начал «выбираться наружу». От Маккензи он прошел до верховьев реки Литтл-Пил, нашел перевал, едва не умер от голода по пути через Поркьюпайнские холмы и наконец вышел к Юкону, где впервые узнал о золотоискателях Юкона и их открытиях. А между тем они трудились там двадцать лет — в сущности, ближайšie его соседи; вот как огромны расстояния в тех краях. В городе Виктория, столице Британской Колумбии, прежде чем двинуться на восток по Канадской тихоокеанской железной дороге³ (о существовании которой он только что узнал), Максвелл многозначительно заметил, что верит в бассейн реки Маккензи и вернется, когда посмотрит Всемирную выставку и отведает цивилизации.

Вера! Может быть, она и не двигает горы, но Север она определенно создала. Такой веры, как у первопроходцев Аляски, не было ни у одного христианского мученика. Они никогда не сомневались в этой холодной, голой земле. Те, кто приходил туда, оставались навсегда — и прибывали все новые и новые. Уйти они не могли. Они *знали*, что там залегает золото, и не оставляли стараний. Романтика этих земель и поиска была теперь у них в крови, ее чары держали их мертвой хваткой и не пускали. Один за другим, из-за ужаснейших страданий и лишений, они то и дело отряхивали здеш-

¹ *Форт-Макферсон* — селение в Северо-Западных территориях, на правом берегу реки *Пил* (левого притока Маккензи), в 120 км к юго-западу от города Инувик.

² *Уорбертон Майер Пайк* (1861–1915) — английский исследователь Британской Колумбии и арктических областей Канады, автор популярных в свое время книг путешествий.

³ *Канадская тихоокеанская железная дорога*, или Тихоокеанская магистраль, — первая трансконтинентальная железная дорога Канады, проложенная в 1881–1885 гг.; соединив восточную часть Канады с Британской Колумбией, эта магистраль сыграла важную роль в развитии Западной Канады.

ною грязь с мокасин и уходили навсегда. Но снова наступала весна — и снова они плыли вниз по Юкону вслед за ледяной кашей.

То, как трудно увернуться от хватки Севера, ясно видно на примере Джека Макквесчена. Прожив здесь тридцать лет, он утверждает, что местный климат просто восхитителен и что всякий раз, когда он ездит в Штаты, его одолевает ностальгия. Нечего и говорить, что Север не отпускает его и будет держать при себе до самой смерти.

Но правде говоря, если Макквесчену случится умереть где-то в другом месте, это будет просто неприлично с его стороны. Из трех самых «первопроходческих» первопроходцев уцелел лишь он один. В 1871 году — то есть когда до перехода Холта через Чилкут оставалось от года до семи — Макквесчен в сопровождении Эла Мэйо и Артура Харпера прибыл на Юкон с северо-запада, по маршруту Компании Гудзонова залива — от Маккензи до Форт-Юкона. Имена этих троих, как и их биографии, тесно вплетены в историю страны, и пока будут существовать на свете хроники и карты, будут помнить реки Мэйо и Макквесчен и «Поселок Харпера и Лэ-дью» в окрестностях Доусона. По заданию Коммерческой компании Аляски Макквесчен основал в 1873 году форт Доверия¹ в шести милях ниже реки Клондайк. В 1898 году автор этих строк познакомился с Джеком Макквесченом в Минуке, что в низовьях Юкона. Старый первопроходец, хоть и поседел, выглядел по-прежнему крепким и добродушным, и оптимизма у него было не меньше, чем тогда, когда он впервые углубился в те земли вдоль Северного полярного круга. И больше никто на Севере не пользуется такой любовью. Великая печаль настанет, когда его душа уйдет разведывать края за Последним Рубежом — быть может, «дальше на север», откуда нам знать?

Прекрасный пример человека, создавшего Юконский край, — Фрэнк Динсмор². Этот янки родился в городе Оберне в штате Мэн, но с ранних лет его одолевала жажда странствий, так что в шестнадцать он уже спешил на запад по той самой тропе, которая затем ведет «дальше на север». Он разведывал золото и в Черных хол-

¹ *Форт Доверия* — торговый пост на правом берегу Юкона, в 13 км вниз по течению от *Доусона*, основанный в 1874 г. представителями Коммерческой компании Аляски во главе с Макквесченом и более десяти лет являвшийся центром торговли пушниной и средоточием деловой активности в регионе. В 1886 г., когда было обнаружено золото на реке Стюарт, пост утратил свое экономическое значение и вскоре был заброшен.

² *Фрэнк Динсмор* (1854–1898) — юконский старатель.

мах¹ в штате Монтана, и в Кер-д'Алене², но затем слышал шепот Севера — и отправился в Джуно на юго-восток Аляски. Но Север все шептал, и шептал все настойчивей, и Динсмор не знал покоя, пока не перевалил через Чилкут и не спустился в таинственную Безмолвную землю. Было это в 1882 году, и он миновал череду озер, прошел вниз по Юкону и вверх по Пелли и попытал счастья на порогах реки Макмиллан³. Осенью Динсмор, ходячий скелет, в пургу вернулся обратно из-за перевала — в изодранной рубашке, истрепанных штанах и с горсткой муки.

Но страха он не ведал. Ту зиму он проработал в Джуно за прокорм, а следующей весной обнаружил, что стоит задниками мокасина к океану, а лицом к Чилкуту. Все это повторилось следующей весной, и следующей, и еще через год — и наконец в 1885 году Динсмор ушел за перевал навсегда. Возвращаться назад он не собирался, пока не найдет заветное золото.

Шли годы, однако решимость его не ослабевала. Одиннадцать долгих лет писал он историю своей жизни на лице земли — лыжами и каноэ, киркой и лотком для промывания золота. Верхний Юкон, Средний Юкон, Нижний Юкон — все разведывал Динсмор с верой и усердием. Ночевал он где придется. И зимой, и летом обходился он без палатки и печки, и говорили, что самое теплое, чем ему доводилось укрываться, было шестифунтовое одеяло из шкур арктического зайца-беляка. Можно с полным основанием сказать, что рацион его состоял из заячьего следа да лососевых потрохов, поскольку полагался он в основном на винтовку и рыболовные снасти. Выносливость его не уступала храбрости. Он на спор поднял тринадцать пятидесятифунтовых мешков муки — и унес. Завершив семисотмильный переход по льду сорокамильным перегонном, он приехал в поселок в шесть часов вечера и обнаружил, что вот-вот начнется «Танец скво»⁴. Динсмор должен был падать с ног от усталости. Да и муклуки на нем промерзли насквозь. Но он скинул их и плясал всю ночь в одних носках.

В конце концов фортуна смиростивилась к нему. Поиски завершились, и он собрал свое золото и стал «выбираться наружу».

¹ *Черные холмы* — горный массив в северной части Великих равнин, на юго-западе Южной Дакоты и северо-востоке Вайоминга (а не в Монтане, как указывает автор), где в 1874 г. были найдены месторождения золота.

² *Кер-д'Ален* — горный хребет в штатах Айдахо и Монтана.

³ *Макмиллан* — река в территории Юкон, приток реки Пелли.

⁴ «*Танец скво*» — часть ритуала «Путь врага» индейцев племени навахо. Во время танца незамужние девушки могут сами приглашать партнеров из числа присутствующих мужчин. — *Примеч. пер.*

И конец его был так же ему под стать, как долгие странствия. Болезнь настигла Динсмора в Сан-Франциско, и великодушная жизнь медленно покидала его, сидевшего в большом уютном кресле в гостинице «Дом юконца». К нему приходили врачи, обсуждали его состояние, давали советы, и все это время Динсмор лелеял планы нового путешествия в Северную страну, ибо Север держал его и не отпускал. Он слабел с каждым днем, но каждый день говорил: «Завтра я поправляюсь». Повидаться с ним приходили другие старожилы Севера, бывшие «в отпуску». Они вытирали глаза и ругались полушепотом — а потом входили и громко, весело обсуждали, как пойдут с ним за границу нехоженных земель, едва настанет весна. Но там, в большом уютном кресле, окончился Великий Путь Динсмора, и жизнь покинула его, так и не оставившего навязчивой мысли о походе «дальше на север».

С появления первого белого человека на этой земле царил голод, черный и мрачный. У индейцев и эскимосов голод был хроническим — стал он хроническим и у старателей. Голод был всегда, и вышло так, что жизнь в целом описывалась с точки зрения «кормежки», измерялась в чашках муки. Каждую зиму — по восемь месяцев напролет — герои вечной мерзлоты сталкивались с угрозой голодной смерти. Установился обычай по приближении осени тянуть карту из колоды или соломинку, чтобы определить, кто из партнеров отправится опасной дорогой к океанскому побережью, а кто останется и попробует пережить опасную тьму полярной ночи.

Чтобы всем перезимовать без потерь, запасов не хватало никогда. Коммерческая компания Аляски изо всех сил старалась поставлять достаточно «кормежки», но старатели прибывали быстрее и были бесстрашнее. Когда Компания пополнила свой флот новым колесным пароходом, люди говорили: «Теперь-то у нас всего будет вдоволь». Но все больше золотоискателей потоком текло с юга через перевалы, все больше проводников и торговцев мехом пробивалось через Скалистые горы с востока, все больше охотников на тюленей и любителей приключений с побережья подтягивалось с запада, со стороны Берингова моря, и все больше моряков бежало с китобойных судов на север — а потом все вместе, по-братски, голодали. То и дело появлялись новые пароходы, однако число старателей росло еще быстрее. Тогда на сцену вышла Североамериканская транспортная и торговая компания, и обе компании стали неустанно пополнять свой флот. Однако старая история продолжалась, и голод не отступал. Более того, он рос вместе с насе-

лением, пока зимой 1897/98 года правительство Соединенных Штатов не было вынуждено снарядить спасательную экспедицию на оленях. Как в старину, партнеры-зимовщики тянули карты или соломинки и по воле случая либо оставались зимовать, либо выби-
рались к океану. Местные старожилы были мудры и научились ни-
когда не рассчитывать на спасательные экспедиции. Они слышали
о подобном, но ни один смертный из их числа не видел этих экспе-
диций своими глазами.

Невзгоды других краев, где искали золото, блекнут и меркнут
рядом с невздами Севера. Передать эти тяготы не в силах ни пе-
чатное, ни устное слово. Кто не испытал это на собственном опы-
те, тот никогда не поймет. А кто испытал, не понаслышке знает,
что Господь, создавая мир, устал, и когда прикатил Он последнюю
тачку, то «вывалил ее как попало», и так возникла Аляска. Хотя
суть тамошней жизни и невозможно донести до домоседа, все же
и сами местные жители иногда сетуют на ее суровость. Один бы-
вавший старатель из Минука говорил так: «Вы заметили, какие у нас
у всех лица? Новичка узнаешь с первой минуты, он живой, увле-
ченный, даже веселый. А мы, старые золотоискатели, всегда мрач-
ные, когда трезвые».

Другой старожил, терзаемый тоской по дому, воображал себе
марсианского астронома, который объясняет другу, как все устроено
на Земле, и показывает в телескоп: «Вот континенты, а там, у са-
мого полюса, есть страна — промерзшая, пылающая, одинокая, да-
лекая, — и называется она Аляска. Так вот, в других странах и го-
сударствах есть большие лечебницы для душевнобольных, и там
полным-полно народу, но их все равно не хватает, и для самых тя-
желых случаев отвели Аляску. Время от времени какое-нибудь бед-
ное безумное создание вдруг приходит в себя в этом жутком безлю-
дье — и в радостном изумлении бежит из тех краев обратно домой.
Но большинство неизлечимо. Они просто мучаются и мучаются,
черти несчастные, и то ли начисто забывают прошлую жизнь, то
ли вспоминают ее, как сон». И снова о хватке Севера, который
держит и не пускает, ибо *«большинство неизлечимо»*.

Четверть века шла битва с холодом и голодом. Самая суровость
схватки с природой, похоже, делала старателей добрее друг к дру-
гу. Никто никогда не запирали дверей, щедрость была в обычае.
О недоверии здесь и не слышали, а если говорили, что человек от-
дает товарищу последнюю рубашку, это было отнюдь не преуве-
личение. Однако самым примечательным в этой связи был, пожа-
луй, старинный обычай, согласно которому, когда наступало пер-

вое августа, неудачливым старателям, не напавшим на золотую жилу, позволялось пойти на участки более счастливых товарищей и намыть столько, чтобы хватило на «кормежку» на весь следующий год.

В 1885 году много золота намыли на реке Стюарт, а в 1886 году золото обнаружили вблизи Кассиарской отмели¹ ниже устья Хуталинквы. Именно тогда первое, не слишком богатое месторождение было разведано на ручье Сороковой Мили, названном так потому, что он протекает на сорок миль ниже форта Доверия, который прославился благодаря Джеку Макквесчену. Один старатель по фамилии Уильямс отправился на собаках и с проводниками-индейцами, чтобы сообщить эти новости, однако на вершине перевала Чилкут ему пришлось так туго, что его на руках принесли умирать в лавку капитана Джона Хили в Дайе. И все же он успел рассказать: *нашли золото!* В следующие три месяца через Чилкут перевалило более двухсот золотоискателей, и все хлынули в Сороковую Милю. Находки следовали одна за другой — Шестидесятая Милля, Миллер, Глетчер, Березовая, Франклин и Коюкук. Но все эти месторождения были не слишком богатые, и золотоискатели по-прежнему мечтали о легендарной речке Золотая Россыпь, где золота столько, что породу нужно лопатой ворошить в желобе, чтобы не смыло золотой песок.

И все это время Север готовился сыграть свою отменную шутку. Это была всем шуткам шутка, хотя, пожалуй, слишком злая, и это из-за нее старожилы верили, что бóльшую часть года тот край погружен во тьму, поскольку Бог уходит и покидает его. После всех опасностей, трудов и нестигаемой веры судьба распорядилась так, что несколько героев оказались в нужном месте в тот момент, когда Золотая Россыпь явила свои желтые сокровища звездам.

Первым там побывал Роберт Гендерсон, и это чистая правда. Гендерсон верил в район Индейской реки. Он три года в одиночку, полагаясь в основном на винтовку и питаясь по большей части одним мясом, разведывал многочисленные притоки Индейской реки, чуть-чуть промахнулся и не открыл богатые ручьи Серный и Доминион, но сумел добыть себе на кормежку (скудную кормежку) на Кварцевом и Австралийском ручьях. Затем Гендерсон пересек водораздел между Индейской рекой и Клондайком и на одном

¹ *Кассиарская отмель* — обширная песчаная отмель на Юконе, между устьями рек Стикин (Хуталинкава) и Большой Лосось.

из притоков, питающих последний, намыл на восемь центов с одного лотка. В те бесхитростные времена это считалось великолепной добычей. Этот ручей Гендерсон назвал Золотым Дном, пересек водораздел в обратном направлении и уговорил троих людей — Мэнсона, Далтона и Свенсона — вернуться туда вместе с ним. На четверых они добыли семьсот пятьдесят долларов. И надо подчеркнуть — и снова подчеркнуть, -- что *это было первое золото, намываемое на Клондайке*. И еще надо подчеркнуть, что *именно Роберт Гендерсон открыл Клондайк, кто бы что ни говорил*.

Когда кончились припасы, Гендерсон снова пересек водораздел и отправился вниз по Индейской реке и вверх по Юкону к Шестидесятой Миле. Там держал факторию Джо Лэдью, и там Джо Лэдью первоначально снабжал Гендерсона провизией. Гендерсон рассказал свою историю, и двенадцать человек (все, кто был в фактории) бросили работу и поспешили туда, где он нашел свою жилу. Кроме того, Гендерсон убедил партию старателей, направлявшихся на реку Стюарт, изменить маршрут, спуститься по реке и присоединиться к нему. Он нагрузил лодку припасами, сплавился по Юкону к устью Клондайка, а потом где на шесте, а где волоком прошел вверх по Клондайку к Золотому Дну. Однако в устье Клондайка он повстречал Джорджа Кармака — и тут история закладывает крутой поворот.

Кармак был белый, женатый на индианке. За тесное общение с индейцами его в кругу знакомых презрительно прозвали Сиваш Джордж. Когда Гендерсон повстречал его, тот промыслял лосося с женой-индианкой и ее родней на том самом месте, где вскоре будет воздвигнут Доусон — Золотой Город Снегов. Гендерсон, у которого доброта и щедрость лились через край, рассказал Кармаку о своем открытии. Но Кармак и так был всем доволен. Его не обурежала чрезмерная страсть к суровой жизни — ему вполне хватало и лосося. Однако Гендерсон уговаривал его прийти и застолбить участок — и в конце концов Кармак согласился, но решил взять с собой все племя. С этим Гендерсон не мог согласиться и заявил, что предпочитает своих старых друзей из Шестидесятой Мили каким-то там сивашам, и, как рассказывают, наговорил при этом об индейцах лишнего.

Наутро Гендерсон один двинулся вверх по Клондайку к Золотому Дну. Кармак к этому времени разгорячился и пришел туда же пешком, срезав напрямик. В сопровождении двух своих индейских родственников — Скукума Джима и Тагиша Чарли — он прошел вверх по Заячьему ручью (теперь он зовется Бонанзой), пере-

брался на Золотое Дно и застолбил участок возле жилы, которую открыл Гендерсон. По пути он промыл несколько лопат на Заячьем ручье и показал Гендерсону крупинки золота, которые там нашел. Гендерсон заставил его дать слово, что если он обнаружит что-то подобное на обратном пути, то пришлет кого-нибудь из индейцев сообщить об этом. Кроме того, Гендерсон согласился заплатить за эту услугу — похоже, он чувствовал, что они на пороге чего-то крупного, и хотел в этом удостовериться.

Кармак вернулся, следуя по течению Заячьего ручья. Пока он спал на берегу, примерно в полумиле ниже устья ручья, который впоследствии называли Эльдорадо, Скукум Джим попытал счастья и уже из верхнего слоя получил от десяти центов до доллара на лоток. Кармак с родней застолбили участок и, не теряя времени, помчались в Сороковую Милю, где оформили заявки у капитана Констэнтайна¹ и переименовали ручей в Бонанзу. А про Гендерсона забыли. Ему ничего не сообщили. Кармак нарушил слово.

Шли недели, Бонанза и Эльдорадо были застолблены от истока до устья, места больше не осталось, и тут через водораздел к Золотому Дну перебралась партия опоздавших и обнаружила, что Гендерсон по-прежнему трудится там. Когда они сказали, что пришли с Бонанзы, он опешил. Это название он слышал впервые в жизни. Но когда они описали это место, Гендерсон узнал Заячий ручей. Тогда они поведали ему о тамошних чудесных богатствах, и, как рассказывает Таппан Эдни², поняв, что он потерял из-за предательства Кармака, Гендерсон «отшвырнул лопату, и пошел, и сел на берегу, и сердце у него болело так, что он не сразу смог заговорить».

Были и другие старожилы — люди из Сороковой Мили и Серкла. Во времена этих открытий почти все они работали далеко на западе, разрабатывая старые жилы или разведывая новые. Они сами о себе говорят, что даже дождь из супа и тот вечно застает их с вилками в руках. В наплыве старателей, узнавших об открытии Кармака, старожилов почти не было. Просто их не оказалось поблизости. А те, кто хлынул на Клондайк, были в основном люди

¹ Чарльз *Констэнтайн* (1846–1912) — инспектор Северо-Западной конной полиции, представитель правительства Канады и приисковый комиссар будущей территории Юкон в 1894–1897 гг.

² Эдвин *Таппан Эдни* (1868–1950) — американский художник, фотограф и писатель; в 1899 г. выпустил книгу «Клондайкская золотая лихорадка», богато иллюстрированную фотографиями, которые он сделал на приисках в 1897–1898 гг.

никчемные, новички, сидевшие по поселкам, в то время как остальные работали. И пока Боб Гендерсон прокладывал путь на восток, а герои прокладывали путь на запад, Бонанзу заволокли и застолбили желторотые лодыри.

Однако запас шуток у Севера еще не исчерпался. Когда пришла осень и герои вернулись в Сороковую Миллю и Серкл, то спокойно слушали истории о том, что делается в верховьях, об открытиях индейцев и находках бездельников, — и только головами качали. Они судили по калибру участников и решили, что это какое-то надувательство. Но вниз по Юкону по-прежнему просачивались красноречивые слухи, и некоторые старожилы решили подняться по реке и взглянуть на все своими глазами. Осмотревшись там, они поняли, что в жизни не видели более неподходящего места для золота, и снова спустились по реке, «оставив землю шведам».

А Север снова все переиграл. Старатель с Аляски вошел в половицы — не столько за лживость, сколько за неспособность говорить правду без прикрас. В краю преувеличений он тоже склонен раздувать масштаб реальных событий. Но когда речь идет о Клондайке, исказить правду просто не успеваешь — она искажается сама. Кармак первым намыл доллар с лотка. И солгал — сказал, что намыл два с половиной доллара. А когда те, кто сомневался в его словах, сами получили по два с половиной доллара с лотка, то сказали, что намыли по унции, — и представьте себе, не успели распространиться лживые рассказы, как они намывали уже не по унции, а по пять. Но говорили, что по шесть, — и, когда наполняли лоток песком, чтобы подтвердить свое вранье, намывали двенадцать унций. Дальше — больше. Старатели продолжали доблестно врать, а истина все время их опережала.

Но гиперборейский хохот Севера все не унимался. Когда Бонанзу застолбили от истока до устья, те, кто не сумел «вписаться», злые и обиженные, пошли вверх по ручейкам и притокам. Одним из них был ручей Эльдorado, и многие золотоискатели, оформив заявки, больше о них даже не вспоминали. Кто-то продал за мешок муки половинную долю в пятистах футах ручья. Другие владельцы участков бродили по окрестностям и пытались обманом уговорить кого-нибудь выкупить их землю за бесценок. И тут Эльдorado показал себя. Он оказался много, много богаче Бонанзы — каждый фут его в среднем приносил тысячу долларов.

Швед по имени Чарли Андерсон работал на ручье Миллера в тот год, когда нашли жилу, и прибыл в Доусон с несколькими сотнями долларов. Два золотоискателя, ранее застолбившие уча-

сток номер 29 на Эльдорадо, решили, что Чарли как раз тот, кому можно его сплавить. Швед был умен и в трезвом виде не поддавался бы на такие уговоры, поэтому им пришлось потратиться, чтобы напоить его. Да и тогда он не соглашался, но они продержали его в подпитии несколько дней и все же соблазнили на покупку участка номер 29 за семьсот пятьдесят долларов. Когда Андерсон протрезвел, то плакал над своей глупостью и умолял вернуть деньги. Но те, кто его опоял, были люди жестокие. Они смеялись над ним и ругали себя, что не выжали из него еще сотни две. Андерсону ничего иного не оставалось, как разрабатывать никудышную землю. Так он и поступил, и она принесла ему три четверти миллиона с лишком¹.

Старожилы поверили в новые месторождения лишь тогда, когда там появился Фрэнк Динсмор, у которого уже были крупные участки на Березовой реке. Динсмор получил письмо от одного из тамошних старателей, который писал, что это «богатеишая россыпь в мире», после чего запряг собак и помчался разведывать обстановку. А когда он прислал оттуда письмо, где говорилось, что он «в жизни подобного не встречал», Серкл-Сити впервые поверил в Клондайк — и туда хлынул поток золотоискателей, какого те края не видели ни до, ни после. Запрягли в нарты всех собак, многие шли пешком, даже женщины, дети и больные преодолели долгой полярной ночью триста миль мерзлоты до богатеишей золотой россыпи в мире. Рассказывают, что, когда снежная пыль от последних саней исчезла вдали на Юконе, в Серкл-Сити осталось всего двадцать человек, в основном калек, не способных передвигаться.

С тех пор золото находили в самых разных местах — под слоем дерна на уступчатых склонах холмов, в недрах острова Монте-Кристо, в прибрежных песках Нома. И теперь золотоискатель, знающий свое дело, избегает перспективных на вид участков, поскольку опыт, добытый дорогой ценой, дает ему уверенность, что больше всего золота он найдет в самом малообещающем месте. Иногда этот довод выдвигают в защиту теории, что Северного полюса в конце концов достигнут именно золотоискатели, а не путешественники. Кто знает? Это у них в крови, и они на такое способны.

1902, опубл. 1903

¹ Эта история стала сюжетной основой рассказа Лондона «Золотое Дно» (1903).

ВВЕРХ ПО ЛЕДЯНОМУ СКЛОНУ

Когда Клэй Дилэм выходил из палатки, чтобы отправиться на нартах за хворостом для костра, он думал вернуться через полчаса. Так он сказал готовившему обед Свенсону. Они со Свенсоном жили на разных стоянках, милях в двадцати друг от друга, на берегу реки Стюарт, а свела их вместе поездка за почтой по Юкону до Доусона.

Свенсон рассмеялся, услышав обещание Клея вернуться через полчаса. Сомневаюсь, сказал Свенсон, потому что вблизи Доусона сухого хвороста не сыскать, весь хворост, какой был, давным-давно собрали; и сухие дрова не стоили бы здесь по сорок долларов за вязанку, если бы любой мог привезти их целые нарты за то время, что собирается потратить Клэй.

Клэй усмехнулся вместо ответа, прыгнул в нарты и погнал собак по юконской тропе. Дело в том, что, возвращаясь накануне из сивашской деревни, он в стороне от дороги разглядел небольшую засохшую сосну, никем ранес не замеченную. А у него глаза были молодые и зоркие: ему только-только стукнуло семнадцать.

За каких-то десять минут он доберется по льду до места, минут за десять свалит дерево, и ему еще десять минут останется на обратную дорогу, чтобы как раз успеть к обеду, затеянному Свенсоном.

Чуть пониже Доусона, вздымаясь от самого берега Юкона, высятся огромная Лосиная гора, названная так лейтенантом Шваткой задолго до того, как Клондайк стал знаменитым. Со стороны реки склон ее скалистый, весь в острых камнях и трещинах; именно среди этих каменных нагромождений Клэй и обнаружил дерево.

Оставив своих собак внизу, на льду замерзшей реки, он внимательно осмотрел склон и разглядел сосну. Погибшее, побитое непогодой дерево затерялось среди серых скал, поэтому тысячи проезжавших мимо людей его не заметили. Пустив корни в расщелине, оно выросло и, высосав все соки из почвы, погибло. Вниз от него шла отвесная стена футов в сто. Все, что нужно сделать, — это десяток раз рубануть топором по сухому стволу, и он свалится на лед и, скорее всего, разлетится на куски. Так рассчитывал Клэй, когда самоуверенно отводил на поездку всего полчаса.

Прежде чем подниматься к сосне, он внимательно изучил утес. Насколько он понимал, кружной путь будет самым коротким. Если взобраться по двадцатифутовой почти вертикальной стене, то

попадешь на мягко сползающий по склону ледник. И, следуя зигзагами по этому леднику, можно добраться до сосны.

Закрепив топор за спиной, чтобы он не мешал движениям, Клэй, как кошка, вцепился руками и ногами в покрытую трещинами скалу и карабкался по ней, пока не преодолел эти двадцать футов. Он остановился на гребне оползня, чтобы перевести дух.

Покрывавший ледник снег делал его особенно скользким. А лишние каблуков моржовые подошвы его муклуков были отполированы долгими путешествиями по льду, и он вдруг понял, сколь мало они пригодны для передвижения по ледяному склону. Поскользнуться теперь означало упасть на лед с высоты двадцати футов. А если продвинуться еще футов на сто, то лететь придется все пятьдесят.

Чтобы найти опору, он руками в рукавицах продавливал снег до почвы и так продвигался вперед. Ему приходилось делать все с такой осторожностью, что на первый зигзаг у него ушло пять минут. А потом, приближаясь по леднику к сосне, он столкнулся с новой трудностью. Скат стал круче, накопил мало снега, и плоский участок под тонким снежным слоем был покрыт длинной сухой прошлогодней травой.

Сверху она была как стекло, такая же, как подошвы его мокасин, и, едва с нею соприкоснувшись, ноги разъехались, он упал вниз лицом и поехал по склону, судорожно пытаясь за что-нибудь зацепиться.

Наконец это ему удалось, и минуты две он лежал, чтобы успокоиться. Он снял бы свои муклуки и полез дальше в носках, но мороз был тридцать градусов ниже нуля, а при такой температуре ноги быстро замерзнут. Поэтому он продолжал продвигаться прежним способом и после десяти минут невероятных усилий достиг спасительной массивной скалы, на которой стояла сосна.

Несколько ударов топором — и она свалилась в ущелье, и, взглянув вниз, он удовлетворенно улыбнулся испугу собак. Они готовы были спастись бегством, но он криком успокоил их, и они затихли.

Теперь он развернулся, чтобы начать спуск. Путь вниз, он знал, более опасен, чем вверх, но он не предполагал, что до такой степени, пока не поскользнулся раз пять, всякий раз лишь чудом удерживаясь на скале. Через некоторое время он вновь оказался на леднике, а следом опасной препоной опять стала эта трава.

Он присел и посмотрел на предательский снег, покрывавший склон. Яснее ясного — целым вниз ему не добраться, а разбиваться вдребезги, как сосна, он не хотел. Однако, пока он сидел в бездей-

ствии, его пробирал мороз, и озноб показывал, что нельзя больше медлить. Нужно что-то предпринять, чтобы разогнать кровь. Если он не в состоянии спуститься, двигаясь вниз, ему остается спускаться, двигаясь вверх. Задача под стать Геркулесу, но таков единственный выход из ловушки.

Оттуда, где он находился, ему не была видна вершина скалы, но он сообразил, что расщелина, где образовался ледник, к вершине становится все глубже. То немногое, что он мог разглядеть, наводило именно на такую мысль; еще он заметил, что лед тянется на много сотен футов вверх и там, где он заканчивается, скала вся в трещинах и по ней можно вскарабкаться. Тут и там на приличных расстояниях сквозь заснеженную ледяную гладь проглядывали обломки скал, внушавшие Клэю уверенность, что его план осуществим.

Поэтому, вместо того чтобы зигзагами направиться вниз, он двинулся другим путем, ведущим наверх, пересекая ледник под углом тридцать градусов. Самый трудный участок с травой заставил его с сожалением вспомнить о мягких мокасинах из лосиной шкуры, в которых ноги ощущаешь как вторую пару рук.

Вскоре он обнаружил, что разгребать снег и цепляться руками в рукавицах за траву ненадежно и небезопасно. Они были слишком толстыми, чтобы он мог уверенно в них держаться, и Клэй их снял. Но сразу возникли новые проблемы. Когда он захватывал пучок травы, снег от соприкосновения с голой теплой ладонью подтаивал, и рукава шерстяной рубахи скоро пропитались водой. А пальцы от стужи онемели и перестали сгибаться.

Теперь ему нужна была хорошая опора для ног, на которой он смог бы постоять без поддержки, чтобы надеть рукавицы и похлопать руками по бокам, пока они не согреются.

Занемевшие пальцы существенно замедлили продвижение, но зигзаг наконец приближался к тому месту, где кромка ледника перпендикулярно упиралась в скалу; там Клэй вновь повернул обратно и взял вверх. По мере того как он карабкался все выше и выше, он видел, что ледник имеет форму клина и его скальная основа ближе к вершине проступает все явственнее. Каждый шаг Клэя увеличивал пропасть, казалось, готовую поглотить его.

Хлопая руками по бокам, он обернулся, взглянул вдоль скользкого склона вниз и понял, что если поскользнется, то полетит со скоростью экспресса, чтобы потом удариться о ледяной щит Юкона.

Он обошел первую обнаженную скалу, вторую и к концу часа был над третьей, на высоте целых пятисот футов над рекой. Но

здесь при оставшихся до верха двухстах футах наклон ледника стал еще круче.

Каждый шаг давался труднее и был опаснее, чем предыдущий, а он ослаб от затраченных усилий и без обеда Свенсона. Три или четыре раза он оступился, но сохранил равновесие; однако, становясь все менее осмотрительным от усталости и длительного нервного напряжения, он стал слишком спешить и дважды поскользнулся обеими ногами, потерял опору и стал сползать вниз по склону.

Из-за крутизны здесь было мало снега, но и то немногое, что имелось, он уволок своим телом, превращаясь в ядро снежной лавины. Безуспешно цеплялся он руками -- не было почти ничего, за что можно ухватиться; Клэй катился вниз все быстрее и быстрее.

Первый и второй скальные выступы располагались ниже, но он знал, что первая скала находится в стороне от его пути, и возлагал надежды на вторую. Увы, он все-таки задел ногой край и перевернулся на спину головой вниз.

Сам удар ошеломил Клэя, к тому же сугроб накрыл его с головой слепящим облаком; он мгновенно представил, что будет, если он врежется головой во вторую скалу. Он перевернулся на живот и выбросил руки в стороны, прижимая их к скользкому льду. Такое торможение и развернуло его голову и плечи вбок. В этом положении он еще катился некоторое время, а потом, улучив момент, резким рывком все же завершил поворот всем телом.

И как раз вовремя, ибо в следующее мгновение его ступни наткнулись на выступ, ноги подогнулись, и он, крикнув от внезапно толчка, остановился. За шиворотом и в рукавах было полно снега. Он принялся его вытряхивать и, невольно глянув наверх, понял, куда ему предстоит снова взбираться, и его затрясло, как в лихорадке, и перед глазами все поплыло.

Прошло, наверное, целых десять минут, прежде чем он взял себя в руки и собрался с силами для нового изнурительного восхождения. Ныли ноги, он хромал, у него болела спина в том месте, где образовалась ссадина от топора, когда его опрокинуло назад.

Целый час добирался Клэй туда, откуда сорвался, и затем внимательно осмотрел ледник, столь резко становившийся круче. Было ясно, что при помощи одних лишь рук и ног ему его не одолеть. Он снова стал терять присутствие духа и тут вспомнил о топоре.

Прикинув длину шага вверх, он разгреб снег и в смерзшемся гравии и крошившейся породе склона пробил неглубокую, но удобную ступеньку для ноги; встал на нее и повторил маневр. Таким образом, шаг за шагом, ступенька за ступенькой малая частичка

многотрудной жизни двигалась, как муха, по лику Лосиной горы, пробивая себе путь наверх.

Когда он достиг вершины ледника и встал на скалистое дно расщелины, спускались сумерки. Здесь склон устремлялся к гребню горы и становился не таким крутым, а скалы давали опоры для ног и рук. Самое худшее осталось позади, а впереди его ожидал более легкий путь.

Расщелина выходила в небольшую долинку, в которой скопился слой почвы, из нее выросла рощица тонких сосенок. Деревья все погибли, высохли и закалились, давно уже все высосав из тонкого слоя земли.

Окинув опытным взглядом лесок, Клэй решил, что тут будет по меньшей мере вязанок пятьдесят. Расщелину к тому же прикрывала другая скала. Голые скалы окружали рощицу со всех сторон, поэтому неудивительно, что ее до сих пор никто не обнаружил. Увидеть эти деревья можно было, только вскарабкавшись сюда тем же путем, каким вскарабкался он.

Клэй продолжил подъем и, когда поднялся на гребень Лосиной горы, его встретила яркая луна. В тысяче футов внизу мерцали огоньки Доусона.

Но спуск с этой стороны при неверном лунном свете был бы опасным и сложным, поэтому он избрал покатый северный склон. Через пару часов он достиг Юкона у сивашской деревни и пошел по реке назад, к тому месту, где оставил собак. Там он нашел Свенсона, все еще ожидавшего у горящего костра его возвращения.

И хотя Свенсон от души посмеялся над его приключениями, тем не менее через неделю или чуть больше в Доусоне было продано пятьдесят вязанок дров по сорок долларов за штуку, и продавцами были они со Свенсоном.

1901, опубл. 1906

КОНЧИНА МОРГАНСОНА

Моргансон доел остатки бекона. Поначалу он макал лепешку в жир на дне сковородки, а закончил тем, что подобрал его весь подчистую уцелевшим куском, дотянулся жадными губами до последней тепловатой капли и нехотя замер. Он не был чревоугодником, но многодневные лишения пробудили в нем тягу к простым, животным радостям. Прежде он никогда не баловал свою утробу.

Ее потребности вообще мало занимали Моргансона — нутро беспокоило его редко, и он беспокоился о нем не чаще. Однако теперь долгое время лишенный привычных удовольствий и жестоко истомившийся желудок испытывал невероятное наслаждение от острого, соленого бекона.

С лица Моргансона не сходило тоскливое, голодное выражение. Щеки его ввалились, кожа казалась туго натянутой на скулы. В бледно-голубых глазах застыла тревога. В них читалось ощущение неизбежной близости чего-то ужасного. Во взгляде его сквозили растерянность, страх, дурное предчувствие. Губы, тонкие от природы, сделались еще тоньше; они как будто алкали дочиستا вылизанную сковородку.

Он сел поудобнее и вынул трубку. Пытливо осмотрел внутренность чашки, опрокинул ее и безуспешно обстучал о раскрытую ладонь. Вывернул наизнанку кисет из тюленьей кожи, вычистил подкладку, бережно подбирая каждую крупинку табака, которую удавалось обнаружить. В итоге едва набралась одна щепотка. Он обследовал карманы и извлек оттуда, зажав двумя пальцами, комочки разного сора, среди которого кое-где попадались табачные крошки. Моргансон выуживал их самым тщательным образом, иногда, впрочем, позволяя и мелким инородным частицам затесаться в улов, собиравшийся на его ладони. Он даже намеренно добавил туда несколько маленьких свалявшихся шерстинок, выбившихся из подкладки куртки и долгие месяцы пролежавших на дне карманов.

Через четверть часа ему удалось набить трубку до половины. Он зажег ее от костра и пересел на одеяла, грея у огня ноги, обутые в мокасины, и делая скупые затяжки. Когда табак в трубке иссяк, Моргансон продолжал сидеть, устремив задумчивый взгляд в угасавшее пламя костра. Понемногу его беспокойство унялось, сменившись решимостью. Из хаоса возможностей он наконец выбрал одну. Но этот выбор был не из приятных. Лицо его сделалось жестким и хищным, а тонкие губы плотно сжались.

Решившись, он начал действовать. Через силу поднявшись на ноги, он принялся сворачивать лагерь: уложил на нарты скатанные одеяла, сковородку, ружье и топор и стянул поклажу веревкой. Потом согрел руки у костра и надел рукавицы. Ноги у него были стерты, и, следуя к передку нарт, он заметно прихрамывал. Когда Моргансон накинул на плечо ремень и налег на него всей своей тяжестью, чтобы сдвинуть нарты с места, то сморщился от боли. Натруженное плечо саднило от многодневного соприкосновения с ремнем.

Его путь пролегал по замерзшей глади Юкона. День выдался пасмурный, хмурое небо обещало снегопад. На юге и в той стороне, куда он, прихрамывая, двигался, делая две мили в час, можно было различить намеки на солнце. Но Моргансон не обращал внимания на погоду. Его глаза были прикованы к снежной тропе, лежавшей впереди, и он шел по ней, оступаясь и привычно страдая от боли, так, словно это происходило с ним уже несколько столетий. Ум Моргансона был поглощен другими мыслями, от которых лицо его становилось все жестче. То и дело его губы плотно сжимались, а в глазах загорался темный огонь.

На исходе четвертого часа пути он миновал излучину и достиг Минто. Селение, располагавшееся на верху высокой земляной насыпи, посреди лесосеки, состояло из придорожной гостиницы, салуна и нескольких хижин. Моргансон оставил нарты у дверей салуна и вошел внутрь.

— На стаканчик хватит? — спросил он, положив на стойку мешочек из-под золотого песка, на вид совершенно пустой.

Бармен внимательно осмотрел мешочек и его владельца, затем поставил на стойку бутылку и стакан.

— Не стоит — пыль одна, — сказал он.

— Ну же, возьмите, — настаивал Моргансон.

Бармен поднял мешочек над чашей весов, обратил отверстием книзу и встряхнул; оттуда выпало несколько крупинок золотого песка. Моргансон взял у него мешочек, вывернул наизнанку и аккуратно ссыпал на весы золотую пыль.

— Я думал, на полдоллара потянет, — сказал он.

— Не совсем, — отозвался бармен, — но вроде того. Ладно, возьмешь на следующем клиенте.

Моргансон робко налил немного виски в стакан.

— Давай лей как следует, — подбодрил его бармен.

Моргансон наклонил бутылку и наполнил стакан до краев. Он пил медленно, наслаждаясь тем, как виски обжигает ему язык, горячим потоком стекает в горло, мягко и нежно обволакивает желудок. Он был пьяницей не больше, чем чревоугодником. Он никогда не любил виски, никогда не знал, каково это — напиться вдрызг; но сейчас, когда жизненные силы его были изрядно подорваны, он находил облегчение и удовольствие в глотке этой огненной жидкости.

Он пересел к печке, чтобы отдохнуть и согреться. Вынул круглое карманное зеркальце размером с долларовую монету и с его помощью осмотрел ротовую полость. Десны имели белесый вид, словно были ошпарены.

— Цинга, да? — спросил бармен.

— Есть немного, — ответил Моргансон, — но отекают пока не начало. Может, доберусь до Дайи, поем свежих овощей, все и пройдет.

— Да у тебя полный набор, — сочувственно хмыкнул бармен. — Собак нет, денег нет, да еще цинга. На твоём месте я бы попробовал хвойный отвар.

Спустя полчаса Моргансон распрощался с барменом и покинул салун. Перекинув ремень через саднившее плечо, он двинулся вдоль реки на юг. Часом позже он остановился. Направо под острым углом от реки заманчиво уходила небольшая низина. Он оставил нарты и проковылял по ней с полмили. Теперь его отделяли от реки триста ярдов поросшей трехгранным канадским тополем равнины. Он прошел редколесьем до берега Юкона. Тропа пролегла внизу прямо перед ним, но Моргансон не стал спускаться к ней. Стоя на высоком берегу, он тщательно осмотрелся вокруг. К югу, в направлении Селкерка, извилистая тропа на снегу была видна на милю с лишним вдаль. С севера же, на расстоянии четверти мили в сторону Минто¹, ее заслонял лесистый береговой выступ.

Моргансон, казалось, остался доволен увиденным и той же дорогой вернулся к нартам. Вновь перекинул через плечо ремень и потащил нарты по низине. По рыхлому, мягкому снегу двигаться было нелегко. Отяжелевшие полозья то и дело застревали, и Моргансон, не одолев и полмили, совершенно выбился из сил. К тому времени, когда он раскинул свою маленькую палатку, установил железную печку и нарубил достаточное количество хвороста, уже наступила ночь. Свечей у него не было, и, ограничившись кружкой чая, он залез между одеял.

Утром, едва проснувшись, Моргансон натянул рукавицы, опустил наушники шапки и прошел редколесьем к Юкону. С собой он прихватил ружье. Как и прежде, к реке он спускаться не стал. Целый час Моргансон наблюдал за пустынной дорогой, хлопал в ладоши и топал ногами, поддерживая циркуляцию крови, а затем вернулся к палатке — завтракать. Чай в жестянке был уже на исходе, его хватило бы самое большее на дюжину завтраков; но Моргансон положил в чайник такую скромную щепотку, будто надеялся растя-

¹ Налицо авторская ошибка, небезразличная для сюжета: в действительности взаимное расположение этих населенных пунктов обратно тому, что описано в рассказе, и Селкерк находится не к югу, а к северо-западу от селения Минто.

нуть то, что оставалось, на бесконечно долгое время. Все его съестные припасы составляли полменка муки и початая банка пекарного порошка. Он нескладенчески и ел их не торопясь, с неимоверным наслаждением пережевывая каждый кусок. Съев три птучки, он сделал перерыв. Поразмыслив немного, он потянулся за следующей лепешкой — и заколебался. Повернулся к полупустому мешку с мукой и поднял его, прикидывая, сколько он весит.

— Недели на две хватит, — произнес он вслух. Затем добавил, отодвинув от себя лепешки: — А может, и на три.

Моргансон опять натянул рукавицы, опустил наушники, взял ружье и отправился к своему наблюдательному посту на берегу реки. Скорчившись на снегу, он обозревал тропу, сам оставаясь невидим оттуда. Несколько минут без движения — и мороз начал щипать его. Моргансон положил ружье на колени и стал похлопывать себя по рукам. Жалаящая боль в ногах сделалась наконец нестерпимой, он слегка отступил от берега и принялся тяжелым шагом бродить среди деревьев. Но и эти блуждания были недолгими: прошло несколько минут, и Моргансон вновь приближался к береговой кромке и внимательно всматривался в оба конца тропы. Кроме того, он был не слишком вынослив и от долгой ходьбы сникал, начинал задыхаться, ловить ртом воздух и оступаться. Тогда он возвращался и садился в снег на берегу.

Впрочем, и сидеть подолгу он не мог. Раз за разом холод понуждал его к ходьбе, и раз за разом ходьба лишала его сил и заставляла отступать обратно в холод. И еще были муки голода, из-за которых он то и дело беспокойно, с яркой сосредоточенностью вперял взгляд в тропу, как будто одно лишь усилие его воли могло поместить туда человеческую фигуру. Миновало короткое утро — хотя Моргансону оно показалось столетием, — а юконская тропа по-прежнему оставалась безлюдной.

Он воротился к палатке, стосковавшись по лепешкам, и развел огонь в печурке. Дожидаясь, когда закипит вода, взял горсть молодых еловых веток и обломал у них концы. Пока из них готовился отвар, Моргансон с помощью зеркала обследовал ротовую полость и десны. Небо было совершенно белым. Он попробовал стиснуть зубы — они еще прочно держались в деснах.

Днем вести наблюдение с берега стало проще. Потеплело, и вскоре пошел снег — сухими тонкими кристалликами. Ветра не было, и снег падал отвесно — тихо и монотонно. Моргансон сидел скорчившись, закрыв глаза и уткнув голову в колени, и сторожил тропу, полагаясь на свой слух. Но ничто не нарушало тишины — ни скулёж собак, ни скрип нарт, ни окрики каюров. С наступлени-

ем сумерек он вернулся к палатке, нарубил еще хвороста, съел две лепешки и забрался в одеяла. Спал он беспокойно, не переставая ворочался и стонал, а в полночь пробудился, встал и умял еще одну лепешку.

Второй день во всем повторял первый, кроме разве того, что Моргансон мерз еще больше. Снегопад прекратился, небо расчистилось, температура упала. И весь день перед ним бесплодно простиралась трона, наподобие мертвого животного, что когда-то было живым.

День ото дня становилось все холоднее. Четырех лепешек было недостаточно, чтобы поддержать тепло в его теле, несмотря на то что он в изобилии пил горячий хвойный настой, и Моргансон увеличил свой рацион до трех лепешек утром и трех вечером. В середине дня он не ел ничего, довольствуясь несколькими чашками очень слабого, но зато настоящего чая. Это вошло у него в привычку: утром — три лепешки, в полдень — настоящий чай, вечером — еще три лепешки. В промежутках он пил хвойный отвар от цинги. Он поймал себя на том, что стал выпекать лепешки крупнее, чем раньше, и после трудной борьбы с самим собой вернулся к первоначальным размерам.

На пятый день тропа ожила. На юге возникла и стала расти какая-то темная точка. Моргансон насторожился. Он принялся приводить в боевую готовность ружье — извлек из патронника заряженный патрон и заменил на другой, а прежний поместил обратно в патронную обойму. Поставил курок на предохранитель и, чтобы правая рука оставалась в тепле, натянул на нее рукавицу. Когда темная точка приблизилась, он разглядел человека, передвигавшегося налегке — без собак и без нарт. Моргансон разволновался, взвел курок, затем опять поставил его на предохранитель. Незвестный обернулся индейцем, и Моргансон, разочарованно вздохнув, опустил ружье на колени. Индеец проследовал мимо и пропал из виду за купой деревьев, скрывавшей тропу в направлении Минто.

Но Моргансона посетила идея. Из своего наблюдательного пункта, где ему приходилось сидеть скорчившись, он перебрался на другое место, к одному из тополей, нижние ветви которого скрывали его с обеих сторон. На двух ветвях он сделал топором по широкой зарубке. Затем положил ствол ружья на одну из зарубок, глянул сквозь прицел на южную оконечность тропы и убедился, что она отлично просматривается. Переменив позу, Моргансон перенес ружье на другую зарубку и столь же внимательно обозрел противоположную часть дороги вплоть до самой купы деревьев, за

которой она исчезала. Его одинокая стража продолжалась до темноты, но на тропе снова установилось затишье.

К концу недели он сократил свой рацион до двух лепешек утром и двух вечером и компенсировал разницу тем, что пил больше хвойного отвара. Но это не смогло остановить развитие цинги. Зубы его пока что прочно держались в альвеолах, однако тело покрылось темной сынью и кровоподтеками. Боли они не причиняли, и он понимал, что это внешние проявления сепсиса, развивавшегося в его организме. Никаких признаков отека не наблюдалось. Моргансон перестал осматривать в зеркальце рот, усомнившись в пользе хвойного отвара.

К тропе он не спускался ни разу. Человек, следовавший по ней, нином не догадался бы, что на высоком берегу реки кто-то затаился. Снежный покров оставался нетронутым. На том месте, где Моргансон свернул с тропы, никаких свидетельств этого не сохранилось. Следы его нарт полумилей ниже по течению — там, откуда он, покинув тропу, отправился низиной, — надежно скрыл снегопад. Когда Моргансон прознал об этом, ему пришло в голову, каким образом можно в случае необходимости покинуть убежище и возвращаться туда без риска, что оно будет обнаружено. Под лесистым береговым выступом он приметил вырванную с корнем сосну, что нависала над речной тропой. Собственно говоря, под этой сосной тропа и пролегала, и он стал прикидывать, возможно ли перемещаться туда и обратно по сосновому стволу.

Чем длиннее делались ночи, тем короче становилось время его дневной вахты. Как-то раз в темноте по тропе, звеня колокольчиками, проехали нарты, и Моргансон в угрюмом раздражении жевал лепешки и прислушивался к этому звону. Судьба явно злоумышляла против него. Десять дней он исправно следил за дорогой, терпя продолжительные и поистине адские муки холода, — и все напрасну. Только какой-то индеец, странствовавший налегке, прошел мимо. А теперь, ночью, когда стеречь тропу было невозможно, по ней в сторону юга и цивилизации проследовали люди, собаки и груженные жизнью нарты.

Именно так он представлял себе нарты, которые поджидал. Они были вместилищем жизни — его жизни. В нем самом жизнь угасала, замирала, истаивала под пологом занесенной снегом палатки. От недоедания он вконец ослабел и не смог бы продолжить путь пешком. Но при нартах, которые он подстерегал, были собаки, что свезли бы и его, была пища, что вновь разожгла бы огонь его жизни, были деньги, сулившие море, солнце, цивилизацию. Море, солнце,

цивилизация стали равнозначны жизни — его жизни, — и они были там, в нартах, появление которых он предвкушал. Это сделалось его навязчивой идеей, и мало-помалу он начал воспринимать себя как полноправного владельца груженных жизнью нарт, у которого отняли его законную собственность.

Его запас муки подходил к концу, и Моргансон вернулся к прежней норме — две лепешки поутру и две вечером. Из-за этого его одолела еще бóльшая слабость, мороз принялся кусать его еще более жестоко — и день за днем он стерег мертвую тропу, не желавшую оживать для него. Наконец наступила следующая стадия цинги. Покрывтая кровавой сыпью кожа утратила способность выводить из организма вредные вещества, и тело начало отекать. Сперва стали опухать лодыжки, и ноющая боль в них часами не давала ему заснуть. Потом отек распространился до колен, и боль удвоилась.

Внезапно сильно похолодало. Стужа все крепчала и крепчала — сорок, пятьдесят, шестьдесят градусов ниже нуля. Термометра у Моргансона не было, но он умел определять температуру по приметам и природным явлениям, которые вéдомы всем в этих краях: по треску выплеснутой на снег и застывающей воды, по замерзанию плевка на лету, по острым уколам мороза, по скорости, с которой замерзает пар от дыхания и оседает инеем на парусиновых стенах и потолке палатки. Тщетно боролся он с холодом, стараясь, как прежде, нести свою вахту на берегу. Слабость делала Моргансона легкой добычей для мороза, который глубоко запускал в него свои зубы, прежде чем он успевал укрыться в палатке и скорчиться у огня. Нос и щеки его были обморожены и почернели, а большой палец левой руки оказался отморожен даже внутри рукавицы. Моргансон обнаружил это, ломая ветку для растопки печи. Неловкое движение кисти — и большой палец с лету наткнулся на ветку, издав звук, какой бывает при сшибке двух палок. Моргансон вонзил в онемевшую плоть иглу, чтобы проверить чувствительность пальца, и пришел к выводу, что, вероятно, дело обойдется утратой первой фаланги.

И именно в это время, когда стужа загнала его в палатку, тропа, жестоко насмехаясь над ним, неожиданно преисполнилась жизни. В первый же день по ней проследовало трое нарт, и еще двое — днем позже. В каждый из этих дней Моргансон, преодолевая слабость, добирался до берега — лишь для того, чтобы тут же прекратить борьбу и ретироваться, — и оба раза через полчаса после его ухода по тропе проезжали нарты.

Холода отступили, и Моргансон опять смог подолгу задерживаться на берегу — а дорога опять замерла. Целую неделю он, скрючившись, выжидал, но тропа оставалась безжизненной, и ни единой души не появилось ни с той ни с другой ее стороны. Он урезал свой дневной рацион до одной лепешки утром и одной вечером — и почему-то не ощутил особой разницы. Порой он сам дивился — как это жизнь еще продолжает теплиться в нем? Прежде ему и в голову не приходило, что можно держаться так долго.

Один в этой белой пустыне, скорчившись на берегу и вперив взгляд в мертвую ленту дороги, объятый тихим немим холодом, что въедался в тело и подтачивал душу, Моргансон мысленно обзревал свою жизнь — по большей части детство, когда скверные условия существования еще не омрачили в его глазах совершенный образ мира. Кроме того, он снова и снова перебирал в памяти последние два года, проведенные в бесплодных стараниях добыть золото на Юконе, — и спрашивал себя, не был ли он слишком ленив и не причинил ли кому-нибудь вред. И всякий раз признавал себя невиновным. Он никому не сделал зла. Он работал на износ, работал так, что вконец исхудал и стал совсем беспомощным. Он оказался в железных тисках обстоятельств. Его тщательно разработанные планы потерпели крах; его самоотверженное усердие не принесло ему ничего. Во время бешеной гонки к Финскому ручью он за одну минуту упустил шанс заработать миллион. Кто виноват, что одна из его собак пала на ходу и он потратил минуту — нет, две минуты — на то, чтобы высвободить ее из упряжки? Это был злой умысел Судьбы, только и всего, злой умысел Судьбы.

Когда тропа вновь подала признаки жизни, это оказалась жизнь, которую он не мог одолеть. Отряд Северо-Западной конной полиции ехал мимо — человек двадцать, множество нарт и собак, — и он затаился понадежней у себя на бережке; путникам так и не довелось узнать о смертельной опасности, которая скрывалась в образе умирающего человека возле самой тропы.

В один из дней голод взял над ним власть. Обезумев, Моргансон съел десять лепешек подряд. У него оставалось только пять фунтов муки, и, когда здравый смысл вернулся к нему, он наказал себя двухдневным воздержанием от всякой еды. Вместо этого он курил. Каждый раз, вскипятив и выпив чаю, он высушивал чайники и засыпал их в трубку. Болезнь его протекала не без причуд. Она атаковала мышцы и суставы, одно колено распухло сверху, другое — снизу; в результате одна нога у Моргансона одеревенела, а другая все время подгибалась. При ходьбе он ощущал немилос-

сердную боль, но тем не менее продолжал ковылять от палатки до берега и обратно и, припадая на одну ногу, прохаживаться туда-сюда по снегу, чтобы не замерзнуть.

Отмороженный палец причинял ему немало хлопот. Отторжение омертвелой ткани на поврежденной фаланге было медленным и болезненным, а другая, в которой сохранялась жизнь, оказалась весьма чувствительной к стуже. У Моргансона, пока он наблюдал за тропой, вошло в привычку снимать рукавицу и прятать кисть внутрь куртки, под мышку, чтобы палец был в тепле. На тропе показался почтальон, и Моргансон пропустил его. Исчезновение такой заметной фигуры, как почтальон, сразу было бы обнаружено.

С некоторых пор он перестал осматривать в зеркальце рот; но однажды все же заглянул внутрь. Больше он этого не делал — он испугался того, что увидел. Он не думал, что щеки его так ввалились. Косматая борода не могла скрыть эти впадины, поскольку их подчеркивали почерневшие от мороза скулы. Но по-настоящему он испугался, увидев свои глаза и сквозившую в них звериную тоску. Он боялся самого себя, и собственный образ, как ни пытался Моргансон избавиться от видения, преследовал его денно и нощно.

На следующий день после того, как у него кончилась мука, пошел снег. Снегопад всегда сопровождается потеплением, и Моргансон не шелохнувшись просидел все восемь дневных часов на берегу, ужасающе голодный и до ужаса терпеливый — точно гигантский паук, подстерегающий добычу. Но добыча так и не появилась, и он в темноте доковылял обратно до палатки, выпил не одну кварту хвойного отвара и горячей воды и завалился спать.

Наутро судьба ослабила свою хватку. Выбираясь из палатки, он увидел громадного лося, пересекавшего низину ярдах в четырехстах от него. Моргансон почувствовал, как кровь бросилась ему в голову, а затем ощутил необъяснимую слабость. На него волной накатила тошнота, и он вынужден был на минуту присесть, чтобы прийти в себя. Потом он потянулся за ружьем и тщательно прицелился. Первый выстрел попал в цель, Моргансон знал это, но лось повернул и рванулся вверх по лесистому склону, спускавшемуся к низине. Моргансон лихорадочно посылал пулю за пулей в мелькавшего среди деревьев и кустов зверя, пока не осознал, что понапрасну расходует патроны, предназначенные для груженных жизнью нарт, которые он поджидал.

Он прекратил пальбу и пригляделся. Приметив, в каком направлении скрылся лось, он увидел в прогалине на вершине склона ствол упавшей сосны. Моргансон мысленно прикинул дальней-

ший путь зверя и понял, что лось должен будет перескочить через этот ствол. Он решил потратить еще один патрон, прицелился в пустоту над сосной и унял дрожь в руках, державших ружье. Лось, вскинув в прыжке передние ноги, оказался в поле его зрения. Моргансон спустил курок. Одновременно со звуком выстрела лось как будто перекувырнулся в воздухе. В следующее мгновение он рухнул, взметнув вокруг себя облако снежной пыли.

Моргансон устремился вверх по склону — по крайней мере, попытался устремиться... Потом он осознал, что очнулся от обморока и поднимается на ноги. Он пошел медленнее, время от времени останавливаясь, чтобы перевести дух и унять дрожь. Наконец он добрался до сосны и тяжело перевалился через нее. Лось лежал перед ним, недвижимый. Моргансон грузно опустился на тушу и расхохотался. Закрыв лицо руками в рукавицах и захохотал еще пуще.

Усилием воли он подавил истерический смех. Он знал, что вскоре туша замерзнет и станет твердой, как мрамор, и потому надо не мешкая разделать ее. Вынув свой охотничий нож, Моргансон принялся за работу, действуя настолько быстро, насколько позволяли увечный палец и общая слабость. Он не стал свежевать лося, а расчленил его на четыре части вместе со шкурой. Получился целый Клондайк мяса. Между делом он прикинул, что вес туши составляет от одиннадцати до двенадцати сотен фунтов. Во время разделки он запихивал в рот куски жира и обсасывал их, чтобы подкрепить свои силы.

Закончив, он выбрал кусок мяса фунтов сто весом и попытался оттащить его к своей стоянке. Но снег был рыхлый, и задача оказалась Моргансону не по силам. Тогда он взял другой кусок, фунтов в двадцать, и, часто останавливаясь отдохнуть, доволок его до палатки. Поджарил часть этого куска, но все есть не стал. Потом машинально побрел к месту своей засады на берегу. На свежем снегу, покрывавшем тропу, виднелся санный след. Грузенные жизнью нарты проехали мимо, пока он разделявал лосиную тушу.

Но Моргансон не придавал этому значения. Он был даже рад, что нарты не появились до того, как он встретил лося. Лось изменил его планы. Лосиное мясо стоило пятьдесят центов за фунт, а до Минто было немногим более трех миль. Подкарауливать грузенные жизнью нарты теперь не требовалось — их заменил лось. Моргансон продаст его. Купит в Минто пару собак, немного еды и табака, и упряжка повезет его по тропе на юг, к морю, солнцу и цивилизации.

Он почувствовал, что голоден. Глухое, однообразное нытье в желудке превратилось в острую, неотступную боль. Он доковылял

до палатки и поджарил себе ломоть мяса. Потом выкурил две полные трубки высушенного спитого чая. Отрезал и поджарил еще немного лосятины. Ощутил необыкновенный прилив сил, вышел наружу и нарубил хвороста. За этим последовал третий ломоть. Аппетит Моргансона, раздраженный едой, разгорелся не на шутку. Теперь он то и дело нуждался в новой порции мяса. Он попробовал отрезáть куски поменьше — но в результате начал поджаривать мясо чаще.

В середине дня ему пришло в голову, что лежащие у поваленной сосны куски туши могут стать добычей диких зверей, и он, схватив топор, наплечный и упряжные ремни и веревки, вскарабкался на склон. Он был так слаб, что на сооружение схрона и перемещение туда мяса у него ушел весь остаток дня. Срубив несколько молодых деревьев, он обтесал их и связал вместе, смастерив, таким образом, высокий помост. Хранилище получилось не таким надежным, как хотелось Моргансону, но ничего лучше он сделать не мог. Оказалось, что водрузить мясо наверх — неимоверно трудная задача. Куски покрупнее никак не поддавались его усилиям, покуда он не перекинул веревку через сук росшего над помостом дерева и, привязав к одному ее концу фрагмент туши, не налег всем своим весом на другой конец. Но и этот способ не сработал, когда Моргансон подступился к самому внушительному куску, весившему добрых сто пятьдесят фунтов. Кусок был тяжелее его, и он тщетно пытался совладать с ним. Сраженный приступом дурноты, он спустился по склону к палатке и съел еще три ломтя лосятины.

Он вернулся к схрону со свежими силами и с новой идеей. Привязал к одному концу веревки стофунтовый кусок мяса, уже находившийся наверху. Столкнул вниз и, присовокупив к его тяжести собственный вес, подтянул на помост прикрепленный к другому концу веревки кусок в полтора фута фунтов. Уловка сработала. Моргансон был очень горд своей выдумкой и подумал, что ему становится лучше, — в противном случае у него не было бы сил гордиться собой. Жизнь улыбалась ему, когда он, прихрамывая, возвращался по темноте в палатку. Море, солнце и цивилизация были уже совсем рядом.

Очутившись в палатке, Моргансон вновь предался продолжительному одинокому пиршеству. В товарищах он не нуждался: общества собственного желудка ему хватало с лихвой. Ломоть за ломтем он жарил и поедая мясо. Он поглощал его целыми фунтами. Он заварил настоящего чаю, и крепкого, — заварил весь чай, который у него оставался. Это больше не имело значения. Завтра он купит чаю в Минто. Почувствовав пресыщение, он закурил. Вы-

курил весь запас высушенного спитого чая. Но что с того? Завтра он будет курить настоящий табак. Он выколотил трубку, поджарил последний ломоть и завалился спать. Моргансону казалось, что он вот-вот лопнет, — так много он съел; и все же немного погодя он вылез из одеял и снова набил рот лосятиной. Он наелся до отвала и спал как перекормленный зверь, тяжело дыша, издавая слабые стоны, терзаемый изнутри горой поглощенного мяса.

Утром он пробудился точно от смертельного сна. До него доносились странные звуки. Он не понимал, где находится, и с туповатым видом озирался по сторонам, пока не заметил сковородки, на которой лежал один-единственный, уже надкушенный кусок мяса. Тогда Моргансон все вспомнил и, вздрогнув, прислушался к непонятным звукам, долетавшим снаружи. Чертыхнувшись, он выскочил из-под одеял. Подточенные цингой ноги подкосились, и он скривился от боли. Стараясь двигаться помедленнее, он надел мокасины и вышел из палатки.

Со стороны лесистого склона, где он обустроил свой схрон, доносились неясный рык и шум грызни, прерываемые время от времени резким, отрывистым лаем. Моргансон, невзирая на сильную боль, прибавил шагу и громко, угрожающе закричал. Он увидел, как волки — много волков — бросились врассыпную по снегу, через подлесок. Сооруженный Моргансоном помост был опрокинут наземь, а звери нажрались мяса до отвала и теперь ускользали, довольные, оставляя ему скудные объедки. Ему было ясно, как случилась беда. Волки обычно держатся недалеке от тех мест, где обретаются лоси. Они учуяли его схрон. Один из них прыгнул со ствола упавшего дерева на вершину помоста. Моргансон различил следы волчьих лап на заснеженной сосне. Он и не подозревал, что волку под силу совершить прыжок на такое расстояние. За первым зверем последовал второй, потом третий, четвертый... пока шаткий помост не рухнул под их тяжестью и напором.

Когда он оценил масштаб потери, его взгляд на мгновение сделался жестким и злым; затем в глазах у него появилось прежнее терпеливое выражение, и он принялся собирать кости, основательно разгрызенные и обглоданные: он знал, что в них еще есть мозговое вещество. Вдобавок, тщательно обшаривая снег, он находил здесь и там ошметки мяса, которые избежали утробы насытившихся зверей.

Остаток утра Моргансон провел, стаскивая уцелевшие части лосиной туши вниз по склону. Кроме них, у него еще оставалось по меньшей мере десять фунтов от куска, принесенного накануне.

— На несколько недель хватит, — пробормотал он, обзрев свои запасы.

Моргансон уже научился жить впроголодь. Почистив ружье, он пересчитал неизрасходованные патроны. Их было семь. Моргансон зарядил оружие и захромал к месту своей засады на берегу. Весь день он стерег мертвую тропу. Он караулил целую неделю, но на дороге не появилось никаких признаков жизни. Дни по-прежнему становились все короче. Он знал, что сейчас, должно быть, середина зимы, хотя понятия не имел, какой нынче день недели или месяц, и не удивился бы, увидев, что светлое время суток начало прибывать.

Мясо укрепило его силы, однако цинга продолжала развиваться, и боли все возрастали. Теперь он питался только супом, выпивая галлоны жидкого отвара из лосиных костей. Бульон становился все жиже, по мере того как Моргансон дробил кости и вываривал их снова и снова; но тем не менее горячая вода с мясным вкусом оказывала на него благотворное действие, и он чувствовал себя бодрее, чем раньше, до того как подстрелил лося.

На следующей неделе дорога однажды ожила — когда на ней возник почтальон, шедший на юг. Едва он появился в четверти мили от Моргансона, тот поймал его в прицел; и, пока путник преодолевал эту четверть мили, стрелок держал его на мушке, собираясь с духом. В конце концов благоразумие взяло верх, и он пропустил почтальона.

На той же неделе в жизнь Моргансона вошло новое обстоятельство. Ему во что бы то ни стало захотелось узнать, какое нынче число. Это стало его навязчивой идеей. Он размышлял, вычислял, но результат всякий раз получался иной. Он думал об этом, пробуждаясь утром, засыпая вечером и в течение дня, когда наблюдал за тропой. Он просыпался по ночам и часами лежал без сна, ломая голову над этим вопросом. Ответ не представлял для Моргансона никакой практической ценности; однако его любопытство все возрастало, пока не сделалось равновеликим голоду и жажде жизни. Наконец оно всецело завладело Моргансоном, и он решил отправиться в Минто и узнать правду.

Он выступил на склоне дня, предварительно подкрепив себя обильной порцией очень жидкого супа. По давно примеченной им сосне, нависавшей над дорогой, он сумел покинуть свое убежище, не оставив никаких следов; прополз по вытянутому горизонтально стволу и спустился на укатанную речную тропу. Перебираясь туда, Моргансон стряхнул снег с верхней части ствола; но он заранее

учел это обстоятельство и потому прихватил с собой топор. Он сделал несколько слабых взмахов и оставил на дереве череду широких зазубрин, чтобы создать впечатление, будто кто-то начинал рубить ствол. Потом спрятал топор в снегу возле тропы и осмотрел результат своих усилий. Свежие зарубки на коре дерева выглядели так, словно кто-то недавно пытался устранить нависшее над дорогой препятствие; этим же объяснялось и отсутствие на стволе снега.

Когда он добрался до Минго, уже стемнело. Но это было ему на руку. Никто не заметил его появления. А к моменту, когда надо будет возвращаться, уже взойдет луна, он знал это. Моргансон выбрался на берег и вошел в салун. В помещении горело лишь несколько свечей, но он слишком долго жил в темной палатке и теперь в первый момент как будто ослеп. Когда глаза попривыкли к свету, он увидел трех мужчин, что сидели вокруг печки. Это были путники, следовавшие юконской тропой, — он понял это с первого взгляда; и поскольку мимо него они не проезжали, очевидно, что прибыли они с другой стороны. Наутро они проедут мимо его палатки.

Бармен присвистнул — протяжно и восхищенно.

— Я думал, ты уже помер, — сказал он.

— С чего бы? — дрожащим голосом спросил Моргансон.

Он отвык говорить вслух, и собственный голос, глухой и хриплый, показался ему чужим.

— Ты на два с лишком месяца как в воду канул, — пояснил бармен. — Отправился отсюда на юг, а в Селкерке так и не объявился. Где же ты был?

— Рубил дрова для пароходной компании, — неуверенно солгал Моргансон.

Он все еще не вполне совладал со своим голосом. Проковыляв через комнату, он привалился к барной стойке. Он понимал, что его ложь должна быть последовательной, и сохранял беспечно-равнодушный вид, однако сердце у него билось неистово и неровно, и он не мог удержаться от голодных взглядов в сторону троицы, сидевшей у печки. Эти люди владели жизнью — его жизнью.

— Но где же ты все-таки обретался это время? — допытывался бармен.

— На том берегу, неподалеку, — ответил Моргансон. — Большой штабель дров заготовил.

Бармен понимающе кивнул.

— Я то и дело слышал стук топора, — подтвердил он. — Так, значит, это был ты? Выпьешь?

Моргансон вцепился в стойку. Выпивка! Он готов был обнять и расцеловать ноги этого человека. Он безуспешно пытался произнести что-нибудь, но бармен, не дожидаясь его согласия, уже тянулся к нему с бутылкой.

— Но чем же ты питался? — спросил бармен. — Судя по твоему виду, тебе не под силу нарубить дров, чтобы и себя-то обогреть. Скверно выглядишь, дружище.

Моргансон, с тоской посмотрев на замершую бутылку, судорожно сглотнул.

— Я рубил до тех пор, пока цинга не одолела, — сказал он. — А потом сразу подстрелил лося. На самом деле я жил припеваючи. Вот только цинга меня подкосила. — Он наполнил стакан и добавил: — Но, думаю, хвойный отвар ее победит.

— Выпей еще, — предложил бармен.

Два стакана виски, выпитые на голодный желудок, стремительно подействовали на ослабевший организм Моргансона. Лицо бармена перед ним расплылось, свечи размножились и заплясали, и его подхватила круговерть сбивчивых мыслей, передуманных, но не высказанных вслух в продолжение одиноких недель его лишений. Они вздымались и опадали у него в голове и, казалось, обладали плотностью, вязкостью и текучестью воды. Моргансону хотелось во что бы то ни стало обратить их в речь. Он открыл было рот, но сумел издать лишь бессвязное бормотание, после чего опустил голову на барную стойку и зарыдал.

Затем он осознал, что сидит на ящике у печки, и ему казалось, что миновали века. Высокий, широкоплечий человек с черными бакенбардами расплачивался за выпивку. Мутным взором Моргансон уловил, как этот человек вытащил из толстой пачки банкноту, — и мутный взор его в мгновение ока прояснился. Это были стодолларовые купюры. Это была жизнь! Его жизнь! Он ощутил почти непреодолимое желание выхватить эти деньги и очертя голову метнуться прочь, в темноту.

Человек с черными бакенбардами и один из его спутников поднялись со своих мест.

— Идем, Ольсон, — сказал владелец бакенбард третьему — белокурому краснолицему здоровяку.

Ольсон поднялся, зевая и потягиваясь.

— Что это вы засобирались спать так быстро? — приуныл бармен. — Ведь еще совсем рано.

— Нужно быть в Селкерке завтра утром, — сказал человек с бакенбардами.

— И это в первый день Рождества! — воскликнул бармен.

— Чем лучше день, тем плодотворней труд, — засмеялся его собеседник.

Уже когда троица покинула салун, до Моргансона наконец дошло, что нынче канун Рождества. Так вот, значит, какое сегодня число. Чтобы узнать это, он и пришел в Минто. Но теперь это оказалось заслонено тремя людьми и толстой пачкой стодолларовых купюр.

Хлопнула дверь.

— Это Джек Томпсон, — сказал бармен. — Поднял два миллиона на Бонанзе и Серном и рассчитывает получить еще больше. Пойду-ка я спать. Выпьешь еще?

Моргансон колебался.

— Рождественский стаканчик, — уговаривал бармен. — Все в порядке. Заплатишь, когда продашь дрова.

Моргансон уже достаточно протрезвел, чтобы выпить снова. Он проглотил виски, попрощался и вышел на тропу. В свете луны он захромал обратно, окруженный прозрачной серебристой тишиной, и перед взором его маячило видение жизни, принявшей облик стодолларовых купюр. Это видение все время менялось и прямо у него на глазах обернулось подернутым рябью морем, которое плавно перетекло в солнечный, утопавший в цветах ландшафт, а затем превратилось в огромные, шумные, восхитительные города. Моргансон оступился, и видение вновь стало пачкой купюр. Он сжал пальцы внутри рукавиц и схватил воздух, желая завладеть деньгами; но вместо них вдруг возникла река свежих овощей и зелени, полезных при цинге. Он устремился за видением, забарахтался в зеленой съедобной реке — и очнулся на мягком снегу в стороне от тропы. И когда он вновь встал на ноги, деньги замерцали перед ним и безостановочно потекли бесконечными потоками и морями удовольствия, радости и наслаждения.

Когда Моргансон проснулся, было темно. Он лежал между одеял, в мокалинах, рукавицах и шапке с опущенными наушниками. Поднявшись настолько быстро, насколько позволяло его разбитое состояние, он развел огонь в печке и вскипятил воду. Насыпая хвои в чайник, заметил на небе первые бледные проблески рассвета. Он подхватил ружье и в панике заковылял к берегу. Скорчившись в ожидании путников, он вдруг вспомнил, что забыл выпить хвойного отвара. И еще он думал о том, что Джон Томпсон может изменить свои планы и отказаться съехать рождественским утром.

Занялся рассвет и перешел в день, холодный и ясный. Шестидесят ниже нуля, как прикинул Моргансон. Ни малейшее дуновение не нарушало морозной арктической тишины. Внезапно он вы-

прянулся, и напряжение мышц оживило цинготные боли. Он услышал отдаленный звук человеческого голоса и неясное повизгивание собак. Он принялся охлопывать себя с боков. Чтобы снять при минусе шестидесяти градусах рукавицу с руки, которой предстояло спустить курок, требовалась немалая отвага, и к этому моменту Моргансон должен был согреться настолько, насколько это было возможно.

Они появились в поле его зрения из-за лесистого берегового выступа. Впереди шел тот третий, чьего имени Моргансон не знал. За ним следовала упряжка из восьми собак, тянувшая нарты. Рядом с нартами, направляя их ход поворотным шестом, шагал Джон Томпсон. Швед Ольсон был замыкающим. Глядя на этого здоровяка в белничьей парке, Моргансон мысленно отметил его стать и мощь. Силуэты людей и собак отчетливо выделялись на фоне окружающей белизны. Они казались плоскими, картонными, механически двигавшимися фигурками.

Моргансон поместил ствол ружья со взведенным курком в зарубку на ветке дерева. Когда он посмотрел в прицел, люди и собаки затуманились и слились с дорогой. Он отвел взгляд, потом посмотрел снова: фигуры по-прежнему оставались размытыми. Окрестности, казалось, плыли куда-то, и Моргансон совершенно ясно увидел, как лесистый островок, расположенный вниз по реке, наклонился под углом сорок пять градусов, после чего вернулся на место. Он и не подозревал, что настолько ослабел. Его охватила сильная дрожь. Моргансон оторвал правую руку от ружья, опасаясь, что может ненароком спустить курок. Кружащийся мрак заполнил его сознание. Затем его растерявшийся ум пронзила одна мысль: Моргансон вспомнил о хвойном отваре, который он приготовил, но так и не выпил. Это заставило его прийти в себя. Он мысленно обозрел свою злополучную жизнь и крах, порожденный стечением обстоятельств, и на него снизошло необыкновенное спокойствие. Моргансон больше не дрожал, и взгляд его опять сделался ясным. Теперь он отчетливо видел людей сквозь прицел.

Неожиданно для себя он почувствовал, что пальцы у него зачленели, и обнаружил, что на правой руке его нет рукавицы. Он не помнил, как снял ее. Поспешно Моргансон водворил рукавицу на место. Люди и собаки приближались, и он уже мог различить в морозном воздухе пар от их дыхания. Когда шедший впереди очутился на расстоянии пятидесяти ярдов от Моргансона, тот вновь стянул с правой руки рукавицу. Положил палец на спусковой крючок и прицелился пониже. Выстрел — и путник, шагавший перед упряжкой, на ходу крутанулся и рухнул на тропу.

Воспользовавшись тем, что застал путников врасплох, Моргансон выстрелил в Джона Томпсона, но взял слишком низко, и тот, зашатавшись, сел на нарты. «В живот», — решил Моргансон, прицелился чуть выше и снова выстрелил. Джон Томпсон упал навзничь поверх груженных нарт.

Моргансон перенес внимание на Ольсона. Он увидел, как тот пустился бежать в сторону Минго, а собаки в нерешительности остановились там, где лежал, перегораживая тропу, труп первого путника. Моргансон послал пулю вслед беглецу, промахнулся, и Ольсон вылинул в сторону. Он несся, выписывая зигзаги, меж тем как Моргансон выстрелил по нему еще два раза подряд и опять не попал. Он собирался снова нажать на крючок, но вдруг передумал. После шести выстрелов у него оставался только один патрон, и он находился в патроннике. Теперь требовалось во что бы то ни стало бить без промаха.

Он перестал стрелять и принялся лихорадочно всматриваться в движения беглеца. Здоровяк, замысловато петляя, во весь дух бежал по тропе, полы его парки прихотливо развевались позади. Моргансон навел на убежавшего шведа дуло ружья и перемещал его, отслеживая извилистую траекторию скачков Ольсона. Указательный палец стремительно коченел и едва чувствовал спусковой крючок. «Боже, помоги мне!» — выдохнул он и спустил курок. Беглец упал ничком, тело отскочило от утоптанной тропы и покатилося по ней, переворачиваясь снова и снова. Какое-то мгновение он судорожно взбивал снег руками, потом затих.

Моргансон бросил ружье, ненужное теперь, когда был израсходован последний патрон, и соскользнул с высокого берега по рыхлому снегу. Его засада сработала, и скрывать место, где он таился, было уже незачем. Прихрамывая, он побрел по дороге к нартам, непроизвольно сжимая пальцы внутри рукавиц. Собачий рык остановил его. Вожак, крупный пес, помесь ньюфаундленда и собаки Гудзонова залива, стоял над телом человека, лежавшим поперек тропы, и угрожающе смотрел на Моргансона, вздыбив шерсть и оскалив зубы. Другие семь собак из упряжки также ошетинились и рычали. Моргансон нерешительно попытался приблизиться, и вся упряжка сделала рывок ему навстречу. Он остановился и заговорил с собаками, то угрожающе, то ласково. Взглянув на лицо человека у лап вожака, он подивился тому, как быстро оно побелело с уходом жизни и началом окоченения. Джон Томпсон лежал поверх нарт с поклажей, запрокинув голову между тюками и выставив торчком подбородок, так что Моргансону была видна лишь его черная борода, обращенная к небу.

Поняв, что собаки не дадут ему подойти к его добыче спереди, Моргансон сошел с тропы и, увязая в глубоком снегу, стал по широкой дуге огибать парты. Собаки, путаясь в упряжи, поворотились за метнувшимся к человеку вожакom. Из-за хромоты Моргансон двигался медленно. Он увидел, что собаки окружают его, начал отступать, и ему это почти удалось, но тут вожак совершил дикий прыжок и воцпился зубами в его голень. Плоть была прокушена и вспорота, но Моргансон все же сумел высвободить ногу.

Он яростно выбранил собак, однако утихомирить их не смог. В ответ они дыбили шерсть, рычали и остервенело рвались из упряжи. Он вспомнил об Ольсоне, повернулся к ним спиной и пошел по дороге, не обращая внимания на свою покалеченную ногу. Рана обильно кровоточила. У него была разорвана артерия, но он не знал об этом.

Больше всего Моргансона поразила необычайная бледность шведа, который еще ночью выглядел таким румяным. Теперь лицо его было бело как мрамор, и, вкуне со светлыми волосами и ресницами, это делало его похожим скорее на статую, чем на создание из живой плоти, каким он был всего несколько минут назад. Моргансон стянул рукавицы и обыскал труп. Пояса с деньгами на теле не оказалось, и мешочка с золотом он также не обнаружил. В нагрудном кармане убитого лежал скромный бумажник. Быстро немевшими на морозе пальцами Моргансон торопливо перетасовал содержимое своей находки. Там были письма с иностранными штемпелями и марками, несколько квитанций и счетов и аккредитив на восемьсот долларов. И все. Денег не было.

Он швырнул бумаги на дорогу, надел рукавицы и принялся бить одной рукой о другую, чтобы согреть их. Через пять минут он ощутил болезненные уколы возвращавшегося тепла. Увидел валявшийся на снегу аккредитив и обернулся к нартам, где с пачкой стодолларовых купюр лежал под надежной охраной Джон Томпсон. Внезапно Моргансон прислушался. Он вспомнил свою изнурительную пытку ожиданием, и до него как будто донесся громкий иронический смех, со всех сторон разрывавший тишину. Моргансон с тревогой озирался, почти ожидая увидеть это смеющееся существо во плоти, но увидел только белую пустыню — безмолвную, холодную, недвижимую.

Он решил воротиться к нартам, но оказалось, что нога у него прикована к дороге. Глянув вниз, он увидел, что стоит в свежих мерзлых натеках чего-то красного. На разорванную штанину и мокасины налип красный лед. Резким движением Моргансон высвободился из стылых оков собственной крови и заковылял по тропе

к нартам. Укусивший его вожак, а следом и вся упряжка зарычали и подались к нему. Моргансон заплакал от бессилия, пошатываясь из стороны в сторону. Потом смахнул слезы с заиндевевших ресниц. Это была насмешка. Злая судьба смеялась над ним. Даже Джон Томпсон — и тот смеялся, устремив к небу свои бакенбарды.

Моргансон вновь подошел к телу шведа и повторно обыскал его. Все, что можно было найти, он отыскал в первый раз, и «восемьсот долларов», начертанные на лицевой стороне аккредитива, насмешливо таращились на него из снега. Затем и окрестная тишина начала смеяться. Это был жуткий, немой смех, потрясший все его существо. Моргансон повернулся и пошел к собакам, которые, путаясь в постромках и рыча, металась между ним и жизнью, его жизнью, лежавшей на нартах.

Обезумев, он рыскал вокруг нарт, то с плачем вымаливая у собак жизнь, лежавшую на нартах, то обрушиваясь на них с проклятиями. Потом на него снизошло спокойствие. Он свалил дурака. Ему надо всего лишь дойти до палатки, взять топор, вернуться и разmozжить собакам головы. Он им покажет!

Чтобы добраться до палатки, нужно было сделать крюк, обогнув нарты и разъяренных зверей. Он сошел с тропы в рыхлый снег. Неожиданно у него закружилась голова, он остановился, боясь, что упадет, если сделает еще хоть шаг. Моргансон долго стоял не двигаясь, с трудом удерживая равновесие на увечных ногах, страшно дрожавших от слабости. Посмотрев вниз, он увидел, как краснеет снег у его подошв. Кровь текла так же обильно, как прежде. Он не думал, что укус такой сильный. Справившись с головокружением, Моргансон нагнулся, чтобы осмотреть рану. Снег как будто ринулся на него, и Моргансон отпрянул, словно уворачиваясь от удара. Он панически боялся упасть и лишь ценой немалых усилий сумел опять выпрямиться. Он страшился этого снега, рвавшегося ему навстречу.

Головокружение вновь стало одолевать его, вкупе с тошнотой. Все его существо постепенно заполняла удушливая чернота. Моргансон сопротивлялся ей, призвав на помощь всю свою волю. Он не мог видеть: глаза застила пелена, и он безуспешно пытался прогнать ее одетой в рукавицу рукой. Колени его дрожали, огромная тяжесть, казалось, вдавливают его в удушающий мрак. Он боялся сесть, интуитивно чувствуя, что тогда ему уже не хватит сил подняться. Он будет стоять, пока не пройдет головокружение, а потом займется покалеченной ногой. Так он и стоял, выпрямившись, беззвучно покачиваясь взад-вперед и надолго погрузившись в грезы.

А между грезами мир мерцал беланной сквозь застиганный глян туман, и затем Моргансон снова, беззвучно покачиваясь, грешил неисчислимым множеством веков.

Потом белое мерцание превратилось в черное, и, придя к себе, он осознал, что лежит на снегу. Голова больше не кружилась, и с глаз слезла пелена. Но встать он не мог — в руках и ногах уже не оставалось сил. Казалось, жизнь покинула его тело. Ценой непомерного напряжения ему удалось перевернуться на бок, и он увидел лапы и черную бороду Джона Томисона, обращенную к небу. И еще он увидел, как вожак лижет лицо человека, лежащего неподалеку. Моргансон смотрел на него с любопытством. Насекомое начинало и пребывало в нетерпении. Временами он издавал резкий, отрывистый лай, словно пытаясь разбудить мертвеца, и наблюдал за ним, наострив уши и виляя хвостом. Наконец он сел, скинул морду и протяжно завыл. Вскоре к его ною присоединилась вся упряжка.

Теперь, проиграв, Моргансон уже не испытывал страха. Он представил, как его найдут мертвым в снегу, и заплакал от жалости к самому себе. Но страха больше не было. Борьба окончилась. Он попытался открыть глаза и обнаружил, что из-за смершихся слез слиплись ресницы. Моргансон не стал смахивать с них наледь. Теперь уже все равно. Более того, ему было по-своему интересно это новое состояние сознания, в котором нет места страху. Он и не догадывался, что умирать так легко. Он даже досадовал на себя за то, что провел столько изнурительных недель в борьбе и страданиях. Он был запуган и одурачен страхом смерти. А умирать вовсе не больно. Все муки, что ему довелось претерпеть, породила жизнь. Самый страх смерти был одной из мук, придуманных жизнью, — ложью со стороны жизни, истово желавшей продолжаться. Жизнь оклеветала смерть. Это было жестоко.

Но и досада его скоро прошла. Ложь и коварство жизни не имели никакого значения теперь, когда он получил то, что заслужил. Моргансон ощущал дремоту, он чувствовал, как его мало-помалу обволакивает сладкий сон, сулящий успокоение и отдых. До него смутно доносился собачий вой, и он мельком подумал, что мороз, завладев его телом, не жалит и не кусает, как прежде. А потом и свет, и мысль угасли за смеженными веками, на которых, словно жемчужины, блестели заледеневшие слезы, и с усталым вздохом облегчения он погрузился в сон.

1906, опубл. 1907

НАПЕРЕГОНКИ С ЛЕДОХОДОМ

Уолт впервые узрел дневной свет в фактории на реке Юкон. Мастерс, его отец, был из числа подвижников, которых принято называть пионерами и которые потратили долгие годы на расширение границ цивилизованного мира и возделывание целины. Местом приложения своих сил он избрал Аляску, и жена отправилась вместе с ним в этот морозный, холодный край.

Родиться на свет для того, чтобы носить мокасины да вязать наплечные ремни, — участь нелегкая, но куда тяжелее еще в детстве лишиться матери. На долю Уолта это несчастье выпало в четырнадцать лет.

В разное время ему случалось совершать подвиги — такое везение выпадает не каждому мальчику, — и он научился гордиться собой и не бояться. Обычно гордыня до добра не доводит, но с Уолтом было иначе. В нем она воспитала здоровую веру в свои силы и возможности и понимание, что они не безграничны. В результате он не страдал ни высокомерием, ни излишней самонадеянностью. Он научился переносить неудачи со стойкостью индейца. Он считал, что позор не в том, чтобы не справиться с задачей, а в том, чтобы не сделать попытку с ней справиться. Поэтому, когда он попробовал пересечь Юкон между двумя ледоходами и был вынужден убегать от второго, неудача его не обескуражила.

А дело было так. Перезимовав по настоянию отца на Мэйзи-Мэй, он переправился на один из юконских островов и разбил там лагерь. Весна была в разгаре, и лед на реке вот-вот должен был тронуться. Было довольно тепло, дни становились сказочно долгими. Прошлым вечером, когда он разговаривал с Чилкутом Джимом, стемнело только после десяти, и Уолту пришлось наконец отправиться спать. Даже Чилкут Джим, мальчик-индеец примерно одного возраста с Уолтом, дивился тому, насколько быстро подступает лето. На южных склонах холмов, на островах и в низинах снег уже стоял; повсюду раздавалось журчание воды и пение скрытых ручьев; но Юкон, прячась под трехфутовым ледяным покровом, почему-то не спешил скинуть его по всей своей огромной длине в три тысячи миль и вырваться из морозных оков.

Впрочем, час освобождения явно близился. Глубокие трещины разбегались по льду во все стороны, и вода начинала сочиться сквозь них, заливая поверхность. Ужасающий грохот заставил мальчишек вскочить с постелей тем утром. Постояв немного на берегу,

они вскоре сообразили, в чем дело. Река Стюарт вырвалась на свободу и принялась громоздить гигантский ледяной барьер при впадении в Юкон, всего в миле выше по течению. Огромная масса льда, принесенного водами Стюарта, превратилась в высокую стену, а оставшиеся обломки ушли вниз и теперь проплывали под крепкой еще ледяной коркой на поверхности Юкона, тяжело ударяясь о нее снизу и стремясь к морю.

Сегодня сломать, — сказал Чилкут Джим, уверенно кивая. — Точно!

— И потом дня два будет ледоход, — добавил Уолт, — и мы с тобой отправимся в Доусон. Тут всего семьдесят миль. При течении пять миль в час, если грести со скоростью три мили, часов за десять доберемся. Как думаешь?

— Точно! — Джим плохо знал английский язык и использовал это свое любимое словечко при каждом удобном случае.

Позавтракав, мальчишки вытащили питерборовское каноэ из его зимнего хранилища. Это был восхитительный образчик столярного искусства, специально выписанный издалека и прибывший на Клондайк аж полгода спустя. Так случилось, что Уолт тогда оказался в Доусоне и купил это суденышко, отдав за него долларов на триста золотого песка, который добыл на Мэйзи-Мэй.

И для Уолта, и для Джима оно стало настоящим откровением, ибо до того момента они не знали ничего более совершенного, чем хрупкие берестяные каноэ индейцев да примитивные, управляемые шестами лодки белых. Надо сказать, Джим частенько по полчаса сиживал возле каноэ, в безмолвном восхищении любуясь его совершенными линиями.

— Хорошо. Точно! — Джим с трудом оторвал взгляд от изящного судна, уже в тысячный раз выражая восторг все теми же словами. Но, посмотрев на Уолта, он увидел на реке позади него нечто неожиданное. — Гляди! Там! — крикнул он.

Кто-то правил упряжкой собак к берегу через весеннюю слякоть, но путь ему преградила поднявшаяся вода. Пока Уолт оборачивался, чтобы посмотреть, что случилось, лед позади незнакомца заколебался и взорвался, разлетевшись на мелкие куски, которые запрыгали в воде, то погружаясь, то вновь выскакивая на поверхность и опрокидываясь, будто множество поплавков.

Поток бурлящей воды поглотил нарты и сбил с ног собак. Если бы человек их не спас, они, надежно впряженные в нарты, наверняка пошли бы ко дну через пару минут. Незнакомец отважно ринулся им на помощь.

Барахтаясь вместе с тонущими животными в ледяной воде, доходившей ему почти до пояса, он перерезал упряжь охотничьим ножом. Одна за другой собаки пускались в плавь к берегу, и к тому моменту, когда были обрезаны постромки последней, первая уже благополучно выбралась на сушу. Только тогда хозяин двинулся за ними, бросив парты. Ему мало чем можно было помочь, и Уолту с Джимом оставалось лишь подать едва живому незнакомцу руки и помочь выбраться на берег.

Человек присел, чтобы отдышаться, затем вытряхнул воду из ушей, как делают обычно мальчишки после купания, и свистнул, созывая собак, чтобы проверить, все ли спаслись. Покончив с этим, он наконец обратил внимание на ребят.

— Меня зовут Мьюзо, — объявил он. — Пит Мьюзо. Я ищу Чарли Дрейка. В Доусоне умирает его компаньон. Нужно, чтобы он немедленно ехал туда, как только река вскрыется. У него ведь на этом острове домик, верно?

— Да, — подтвердил Уолт, — только он сейчас на том берегу, он и еще двое. За дровами поехали.

Незнакомец страшно расстроился. Слова Уолта его совершенно обескуражили: он предпринял столь изнурительное путешествие, только что избежал смерти, столько всего перенес, стремясь поскорее доставить послание, — и все совершенно напрасно. Глаза его наполнились слезами, а голос задрожал, когда он принялся бесцельно повторять:

— Но ведь его компаньон умирает! Это его компаньон, понимаете, перед смертью он хочет поговорить с Дрейком...

Уолт и Джим понимали, что помочь этой беде ничем нельзя. и столь же бесцельно устремили взгляды в сторону безжалостной реки. Человеку не под силу перебраться через нее живым. На другом берегу, несколькими милями выше по течению, к небу поднималась тонкая струйка дыма. Это Чарли Дрейк готовил обед, а семьюдесятью милями ниже умирал его компаньон, и передать эту весть не было никакой возможности.

Но река вдруг стала меняться у них на глазах. Послышался глухой треск и хруст, а потом, как по волшебству, вода с поверхности ушла, и широкий ледяной покров, раскинувшийся от берега до берега и раздробленный на массу льдин всевозможных форм и размеров, бесшумно двинулся прямо на них. Обломки льда, громыхавшие под ледяной коркой, явно застряли где-то ниже по течению и, словно мельничная запруда, преградили путь реке. В результате прибывавшая вода приподняла лед и оторвала его от берега.

— Ломаться очень быстро, — заметил Джим.

— Значит, вперед! — крикнул Мьюзо и принялся срывать с себя мокрую одежду.

Юный индеец рассмеялся.

— Может успеть, а может и нет. Все равно ледоход идти вниз по реке — и тебе идти вниз. Точно! — Он взглянул на Уолта: не попробует ли тот отговорить незнакомца от безумной попытки?

— Вы же не собираетесь переправляться сейчас на тот берег? — спросил Уолт.

Мьюзо кивнул, сел и начал снимать мокасины.

— Но вы не должны этого делать! — запротестовал Уолт. — Это верная смерть. И полпути не пройдете, как река вскрыется, и что тогда станется с вами и вашим известием?

Но Мьюзо упрямо продолжал раздеваться, вполголоса бормоча:

— Мне нужен Чарли Дрейк. Что тут непонятного? У него компаньон умирает.

— Больной человек. Скоро... — Подведя палец ко лбу, индеец принялся описывать рукой круги, изображая таким образом воспаление мозга. — Слишком много работать, слишком много думать, все время думать про больной человек в Доусон. Голова слишком быстро кружиться — вот так. — И он изобразил головокружение.

Тем временем Мьюзо, раздевшись, будто собрался купаться, встал и направился к берегу. Уолт шагнул вперед, преградив ему путь. Он метнул быстрый взгляд на товарища. Джим кивнул в знак того, что все понимает и поможет Уолту.

— С дороги, парень! — грубо скомандовал Мьюзо и попытался оттолкнуть Уолта.

Но тот схватился с ним, и вдвоем с Джимом они повалили Мьюзо на спину. Несколько мгновений несчастный слабо сопротивлялся, но долгая дорога изнурила его и не оставила сил для борьбы с двумя юношами — крепкими, здоровыми и закаленными охотой.

— Вести человек в лагерь, закрыть хорошо в одеяло, я делать человек хорошо, — предложил Джим.

Так они и поступили. Бедного страдальца устроили поудобнее, и Джим применил те познания в области медицины, которые почерпнул у своего племени. Затем мальчишки накормили собак Мьюзо и приготовили обед. Разговаривали они мало, но оба напряженно размышляли об одном и том же, и, когда вышли наконец на яркое солнце, в их головах созрел один и тот же план.

Река уже поднялась футов на двадцать, лед мягко терся о берег. Шум стих. Бесчисленные миллионы тонн льда и воды безмолвно ждали решающего момента, когда оковы падут и начнется безумная гонка навстречу морю. Внезапно, безо всякой очевидной причины, все двинулось вниз по течению. Ледяную запруду прорвало.

Сперва медленно, а потом быстрее и быстрее мерзлую массу несло мимо острова. Воздух вновь ожил и задрожал от мощного трения и бурления. Под сильнейшим давлением огромные глыбы льда взмывали в воздух, некоторые яростно ударялись о берег и даже выскакивали на сушу, сметая на своем пути целые ряды сосен, будто сучки.

Мальчики наблюдали это величественное зрелище в благоговейном молчании, и только когда лед пошел медленнее и вода опустилась до прежнего уровня, Уолт воскликнул:

— Джим, смотри! Тропа плывет!

В самом деле, мимо них проплывала тропа — та самая, возле которой они стояли лагерем и по которой ездили всю минувшую зиму. Следующей зимой они будут ездить на собачьих упряжках по тем же местам, но по новой тропе. А та, старая, проплыла мимо и теперь исчезала из виду.

Обратив взгляды вверх по течению, они увидели открытую воду. Ледоход прекратился, хотя в верховьях оставалось еще достаточно льда, зажато между множества островов, что покрывают грудь Юкона. Вообще говоря, еще не одной запруде предстояло прорваться и пройти чередой ледоходов по глади реки. Следующий такой ледоход мог начаться через пару минут, а мог и через много часов. Кто знает, хватит ли времени добраться до того берега? Уолт вопросительно взглянул на товарища.

— Точно! — согласился Джим, и, не тратя слов понапрасну, они вынесли каноэ на берег. Оба мальчика понимали, что затеяли рискованное предприятие, но обсуждать было нечего. Жизнь научила их, что сама природа вещей требует от человека постоянных усилий и действий, а языком потрепать можно вечером у костра, когда все дела сделаны.

С ловкостью, рожденной долгим опытом, приятели спустили каноэ на воду и направили через мутный поток. Лодка бодро подпрыгивала при каждом ударе весел. Мимо длинной вереницей проносились последние крупные льдины, каждая из которых могла бы раздавить легкое суденышко, как яичную скорлупу, и мальчишкам приходилось призывать на помощь все свое умение и проворство, чтобы избежать столкновения.

Они с тревогой поглядывали на большую излучину выше по течению, из-за которой в любую минуту мог вырваться новый поток льдин. И с неменьшей тревогой поглядывали они на груды льда, что скопились на берегу и нависали над их головами. Льдина громоздилась на льдину, замерев в неустойчивом равновесии, а гребцам между тем приходилось держаться ближе к берегу, чтобы было легче грести: на середине течение было много быстрее. Огромные ледяные глыбы время от времени срывались вниз и падали в реку, поднимая довольно высокие волны, с глухим грохотом, напоминавшим отдаленные раскаты грома.

Несколько раз вода едва не заливала каноэ, но смельчакам удавалось спастись, проворно орудуя веслами. А струйка дыма, поднимавшаяся строго вверх над лагерем Чарли Дрейка, все приближалась. Но ребятам еще предстояло пересечь реку, и они знали, что для этого надо подняться выше по течению.

Достигнув Стюарта, они прошли на веслах вверх по Юкону пару сотен ярдов, затем пересекли его и двинулись дальше вдоль правого берега реки. Вскоре они оказались у Лысого утеса — отвесной скалы, вздымавшейся прямо из воды. Береговое течение здесь было особенно сильным: перед мальчиками возникло первое серьезное препятствие. Перед самым утесом они передохнули, войдя в небольшую заводь, образованную неспешным водоворотом, а затем, собравшись с силами, попытались прорваться мимо скалы.

Сначала дело пошло, но в самом бурном месте течение одержало верх. На протяжении минуты они, как ни гребли, не могли сдвинуться с места. До зловещего утеса можно было дотянуться рукой. Весла взлетали и ныряли как заведенные, а река яростно мчала свои бурные, мутные воды. Так продолжалось целых шестьдесят секунд — а потом каноэ все-таки отнесло к берегу. Чтобы не разбиться о скалу, ребята уперлись в нее веслами, оттолкнулись, и их подхватил неспешный водоворот. Можно было перевести дыхание. Вторая попытка миновать утес едва не увенчалась успехом, но в самый последний момент навстречу каноэ выплыла опасная льдина, от которой пришлось спастись бегством.

— Я уверен, я так думать, — заявил Чилкут Джим, отирая пот со лба, когда они опять отдыхали в заводях. — В следующий раз пройти, точно.

— Придется. Выбора нет, — ответил Уолт, стиснув зубы и крепко сжав губы. Пит Мьюзо показал им дурной пример, и Уолт был готов заплакать от усталости и разочарования. И вот приятели в третий раз вышли из заводи и ринулись в бурные воды, продвигаясь

гаясь вперед со скоростью черепахи. Порой они подолгу стояли на месте, гребя изо всех сил, но, продвинувшись хоть немного, уже не отступали — и наконец, пройдя довольно далеко вверх по течению, оказались в более спокойной воде. И все же нельзя было терять ни секунды. Невозможно было предсказать, когда в Юкон снова ворвется бешеный поток льдин, против которого не выстоит ни человек, ни одно из его творений. Мальчишки упорно шли вверх по реке до тех пор, пока не поднялись примерно на четверть мили к лагерю Чарли Дрейка. Река в этом месте была шириной в целую милю, и, чтобы пересечь ее, приходилось полагаться на помощь стремительного течения.

Уолт слегка повернул голову и кивнул. Джим кивнул в ответ. Без лишних слов они направили каноэ прочь от берега, под углом в сорок пять градусов к течению. Оставался последний рывок: до цели было рукой подать. Действительно, поднимая время от времени головы, они видели Чарли Дрейка, который с двумя товарищами спустился к самой воде, наблюдая за ними.

Пятьсот ярдов. Четыреста ярдов. Творение мастеров из Питерборо, словно стальное лезвие, взрезало воду. Весла проворно ныряли, ныряли, ныряли в четком ритме — и вдруг с берега донесся предостерегающий крик. Сердца у гребцов похолодели. Выше по течению, за излучиной, показалась огромная белоснежная стена. А за ней, подталкивая ее и придавая ей огромное ускорение, скопился миллион тонн воды, которая слишком долго не могла вырваться на свободу.

С правой стороны ледяной поток не вписался в широкий изгиб реки и врезался в противоположный берег. На глазах у ребят к небу взлетали ледяные горы. Они вздымались и рушились, и снова вздымались, сияя и содрогаясь в конвульсиях. Воздух наполнился грохотом, перекрыть который Уолту не удавалось, зато он успел поднять весло и махнуть им в сторону Доусона. Вдруг Чарли Дрейк поймет?

Парой быстрых движений ребята направили каноэ вниз по течению. Нельзя было позволить рвавшемуся на свободу потоку нагнать их. И в этот момент невозможно было пристать ни к одному, ни к другому берегу. Все последние силы были вложены в весла, при каждом ударе которых хрупкое каноэ буквально взлетало над водой и делало длинный прыжок. Уолт и Джим не говорили ни слова. Каждый из них хорошо знал товарища и верил в него, и каждому хватало ума и опыта, чтобы не тратить дыхание понапрасну.

Мимо с бешеной скоростью пролетали деревья, острога, река Стюарт — но друзья даже не смотрели на берег.

Чилкут Джим время от времени бросал украдкой взгляд через плечо — на путь, оставшийся позади, — и замечал про себя, что расстояние между ними и потоком льдин пока что не сократилось. Один раз он решил было взять круче к берегу, но тотчас понял, что добраться до него они не успеют.

Постепенно, очень медленно каноэ приближалось к суше, но силы гребцов уже были на исходе. Они понимали, что если не доберутся до берега совсем скоро, то не смогут этого сделать уже никогда. Подойдя же наконец к берегу, они столкнулись с новым препятствием: перед ними высились шаткие ледяные громады. Пристать было решительно негде. Казалось, до спасения рукой подать, но нет: пришлось грести дальше вниз по течению. На берегу попадались участки, где вполне можно было бы выбраться на сушу, но для этого требовалось время, а каноэ уже настигал безжалостный ледоход, не позволяя мешкать ни минуты.

Через полмили мальчишки растеряли все силы, и ледоход начал их нагонять. В ушах стоял зловеший хруст, а звуки ударов льда о берег сливались в непрерывную канонаду. Уолт чувствовал, как сердце его бьется о ребра; каждый вдох причинял ему боль. Но хуже всего приходилось рукам.

О, если бы только можно было передохнуть, пропустив хотя бы один взмах весел, — сразу стало бы легче! Но нет: вверх-вниз, вверх-вниз, — останавливаться нельзя. Казалось, сил на следующий взмах уже не осталось. Но Уолт понимал: Джим страдает не меньше, и их жизни зависят от стойкости их обоих. Сдаться или пропустить один взмах равносильно бесчестью.

Мальчики совсем обессилели, но твердо верили друг в друга, и если порой сомневались, то каждый в себе, а не в товарище.

С сумасшедшей скоростью обогнув острый мыс, они поняли, что им представилась последняя возможность спастись. Возле самого берега лежал остров, на ближайшей оконечности которого выброшенные рекой льдины образовали пологий склон. Сильным ударом весел мальчишки наполовину вытолкнули каноэ из воды на косо лежавшую льдину, выпрыгнули из него и, оскальзываясь, спотыкаясь и падая, потащили вверх. Это был последний безумный бросок, на который им еще хватило сил.

Когда они прыгнули с гребня ледяной гряды и упали под соснами, оглушительный треск возвестил им о приходе смертоносных

льдин. Одну из них, очень большую, выкинуло на торос, нависший над обессиленными друзьями. Льдина угрожающе замерла на самом краю — и качнулась вперед.

Единым рывком они вместе с каноэ выскочили из-под ледяного навеса — и снова упали, жадно глотая воздух. Грохот ледохода глухо отдавался у них в ушах, но уже не пугал. Им было совершенно все равно. Хотелось лишь одного: просто лежать не шевелясь, как упали, и наслаждаться блаженной неподвижностью.

Спустя два часа, когда река снова очистилась, они спустили каноэ к воде, но отправиться в путь не успели: к берегу подошло другое каноэ, в котором сидели Чарли Дрейк и один из его товарищей.

— Знаете, ребята, вы тут такое устроили... Не стоило бы добрым людям тратить время и искать вас! — Этими словами Чарли поприветствовал Уолта и Джима. — Ради всего святого, что заставило вас соревноваться в скорости с ледоходом? А? Очень хотелось бы знать.

Ребятам хватило минуты, чтобы объяснить, как обстоят дела, а еще минуту спустя Чарли Дрейк уже спешил в Доусон — к умиравшему компаньону.

— Едва проскочили, — заметил Уолт Мастерс, когда они садились в каноэ, чтобы отправиться обратно, в свой лагерь.

— Точно! — поддакнул Чилкут Джим, задумчиво потирая усталые плечи.

1900, опубл. 1907

РОЖДЕННАЯ В НОЧИ

Вечер был жаркий, какие не часто выдаются даже в Сан-Франциско, и в раскрытые окна старинного клуба «Алта-Инью» проникал далекий и глухой шум улиц. Разговор зашел о законах против взяточничества, о том, что если его не пресекут, то, по всем признакам, город будет наводнен преступниками. Приводились всевозможные примеры человеческой низости, злобы, нравственной испорченности. Под конец кто-то вспомнил о вчерашнем происшествии, и было произнесено имя О'Брайена, популярного молодого боксера, накануне вечером убитого на ринге. Это имя как будто сразу внесло свежую струю в атмосферу комнаты. О'Брайен был целомудренный юноша, идеалист. Он не пил, не курил, не сквернословил и был прекрасен, как молодой бог. Он даже на ринг но-

сил с собой молитвенник. Молитвенник этот нашли в его уборной, в кармане пальто... после его смерти.

Он был воплощением Юности, чистой, здоровой, ничем не запятнанной Юности, к которой с восторгом взывают люди, когда они уже ее утратили и к ним подкрадывается старость. И в этот вечер мы так усиленно взывали к ней, что пришла Мечта и на время увлекла нас в мир романтики, далеко от этого города, сердито шумящего за окном. Такое настроение отчасти было навеяно отрывками из Торо¹, которые вздумал прочесть нам Бардуэлл. Однако не он, а лысый и обрюзгший Трифтен предстал перед нами в этот вечер в роли романтического героя. Слушая его рассказ, мы сперва спрашивали себя, сколько же стаканов виски он поглотил после обеда, но скоро забыли и думать об этом.

Случилось это в тысяча восемьсот девяносто восьмом году, мне было тогда тридцать пять лет, — начал Трифтен. — Знаю, вы сейчас мысленно подсчитываете... Ну что ж, от правды не уйдешь — мне сорок семь, а на вид можно дать на десять лет больше, и доктора говорят... ну да к черту всех докторов!

Он поднял высокий стакан к губам и пил медленно, чтобы успокоиться.

— Но я был молод... когда-то. Да, двенадцать лет назад на голове у меня была не лысина, а густая шевелюра, я был крепкий парень, стройный и подтянутый, как спортсмен, и самый долгий день казался мне слишком коротким. Ты же помнишь, Милнер, мы с тобой давно знакомы. Ну скажи, разве я не был молодцом хоть куда?

Милнер кивнул. Он, как и Трифтен, был горным инженером и тоже сколотил себе состояние на Клондайке.

— Ты прав, старик, — сказал Милнер. — Никогда не забуду, как ты разделался с теми лесорубами в тот вечер, когда какой-то корреспондентшишка затеял скандал. В то время Слэвин был в отъезде, — пояснил он нам, — и его управляющий натравил своих людей на Трифтена.

¹ Генри Дэвид Торо (1817–1862) — американский писатель, публицист и философ, мастер лирической прозы, чьи сочинения и образ жизни были близки к идеям трансценденталистов, ратовавших за духовное самосовершенствование человека посредством сближения с природой. Один из любимых писателей Дж. Лондона, который исповедовал подобный идеал в последнее десятилетие жизни. Ниже автор приводит цитату из первой книги Торо «Неделя на реках Конкорд и Мерримак», опубликованной в 1849 г.; название «Вопль человека» не встречается в литературе о Торо и, по-видимому, придумано самим Лондоном.

— А полюбуйтесь на меня сейчас, — с горечью сказал Трифтен. — Вот что сделала со мной золотая лихорадка. У меня бог знает сколько миллионов, а в душе — пустота и в жилах ни капли горячей красной крови. Я теперь вроде медузы — огромная студенистая масса протоплазмы... Брр!

Голос его оборвался, и он для утешения снова отхлебнул из стакана.

— В те дни женщины заглядывались на меня. На улице они оборачивались, чтобы взглянуть еще раз. Странно, что я так и не женился... Все из-за той девушки... О ней-то я и хотел вам рассказать. Я встретил ее за тысячу миль — а то и еще дальше — от всех мест, где живут белые люди. И это она процитировала мне те самые строки Торо, которые только что читал Бардуэлл, — о богах, рожденных при свете дня, и богах, рожденных в ночи.

Это было после того, как я обосновался на Золотой Земле, не подозревая даже, какой сокровищницей окажется этот ручей. Я отправился на восток через Скалистые горы к Большому Невольничьему озеру. На севере Скалистые горы — не просто горный кряж: это рубеж, стена, за которую не проникнешь. В старые времена бродячие охотники изредка переходили эти горы, но большинство таких смельчаков погибало в пути. Именно потому, что это считалось трудным делом, я и взялся за него. Таким переходом мог бы гордиться любой. Я и сейчас горжусь им больше, чем всем, сделанным мною в жизни.

Я очутился в неведомой стране. Ее огромные пространства еще никем не были исследованы. Здесь никогда не ступала нога белого человека, а индейские племена пребывали почти в таком же первобытном состоянии, как десять тысяч лет назад... Я говорю — почти, так как они уже и тогда изредка вступали в торговые сношения с белыми. Время от времени отдельные группы индейцев переходили горы с этой целью. Но даже Компании Гудзонова залива не удалось добраться до их стоянок и прибрать их к рукам.

Теперь о девушке. Я поднимался вверх по ручью, который в Калифорнии считался бы рекой, ручью безымянному и не нанесенному ни на одну карту. Вокруг расстилалась прекрасная долина, то замкнутая высокими стенами каньонов, то открытая. Трава на пастбищах была почти в человеческий рост, луга пестрели цветами, там и сям высились кроны великолепных старых елей. Мои собаки, тащившие весь груз на своих спинах, окончательно выбились из сил, и лапы у них были стерты до крови. Я стал разыскивать какую-нибудь стоянку индейцев, у которых надеялся достать нар-

ты и папять погонщиков, чтобы с первым снегом продолжать путь. Стояла поздняя осень, и меня поражала стойкость здешних цветов. По всей видимости, я находился где-то в субарктической Америке, высоко в Скалистых горах, а между тем вся земля была покрыта сплошным цветочным ковром. Когда-нибудь туда придут белые и засеют эти просторы пшеницей.

Наконец я заметил дымок, слышал лай собак — индейских собак — и дошел до становища. Там было, вероятно, человек пятьсот индейцев, а по количеству навесов для вяления мяса я понял, что осенняя охота была удачной. И здесь-то я встретил ее, Люси. Так ее звали. С индейцами я мог объясняться только жестами, пока они не привели меня к большому вигваму — это что-то вроде шатра, открытого с той стороны, где горит костер. Вигвам был весь из золотисто-коричневых лосиных шкур, выдубленных и прокопченных. Внутри царил чистота и порядок, каких я не встречал ни в одном жилище индейцев. Постель была постлана на свежих еловых ветках: на них лежала груда мехов, а сверху — одеяло из лебяжьего пуха, белого лебяжьего пуха. Мне не доводилось видеть ничего подобного этому одеялу. И на нем, скрестив ноги, сидела Люси. Кожа у нее была смуглая, орехового цвета. Я называл ее девушкой. Нет, это была женщина, смуглая амазонка, царственная в своей пышной зрелости. А глаза у нее были голубые. Да, вот что тогда меня потрясло: ее глаза, темно-голубые — в них как будто смешались синева моря с небесной лазурью — и умные. Более того, в них искрился смех, жаркий, напоенный солнцем, в них было что-то глубоко человеческое и вместе с тем... как бы это объяснить... бесконечно женственное. Что вам еще сказать? В этих голубых глазах я прочел и страстное томление, и печаль, и безмятежность, полную безмятежность, подобную мудрому спокойствию философа.

Неожиданно Трифтен прервал свой рассказ.

— Вы, друзья, наверно, думаете, что я хлебнул лишнего. Нет. Это только пятый стакан после обеда. Я совершенно трезв и настроен торжественно. Ведь сейчас со мной говорит моя бывлая благословенная молодость. И не «старый Трифтен», как называют меня теперь, а моя молодость утверждает, что это были самые удивительные глаза, какие я когда-либо видел: такие спокойные и в то же время тоскующие, мудрые и пытливые, старые и молодые, удовлетворенные и ищущие. Нет, друзья, у меня не хватает слов описать их. Когда я расскажу вам о ней, вы все сами поймете...

Не поднимаясь с места, она протянула мне руку.

«Незнакомец, — сказала она, — я очень рада вам».

Знаете вы этот резкий северо-западный говор? Вообразите мои ощущения. Я встретил женщину, белую женщину, но этот говор! Чудесно было здесь, на краю света, встретить белую женщину, но ее говор, ей-богу, причинял боль. Он резал уши, как фальшивая нота. И все же эта женщина обладала поэтической душой. Слушайте — и вы поймете это.

Она сделала знак — и, верите ли, индейцы тотчас вышли. Они беспрекословно повиновались ей, как вождю. Она велела мужчинам соорудить для меня шатер и позаботиться о моих собаках. Индейцы выполнили ее приказания. Они не позволили себе взять из моих вещей даже шнурка от мокасин. Они видели в ней Ту, Которой Следует Повиноваться. Скажу вам, меня пронизала дрожь при мысли, что здесь, за тысячу миль от ничьей земли, белая женщина повелевает племенем дикарей.

«Незнакомец, — сказала она, — я думаю, вы первый белый человек, проникший в эту долину. Сядьте, поговорим, а потом и поедим. Куда вы держите путь?»

Меня снова покорила ее выговор. Но вы пока забудьте о нем. Уверяю вас, я и сам забыл о нем, сидя там, на лебяжьем одеяле, и слушая эту замечательную женщину, которая словно сошла со страниц Торо или другого писателя.

Я прожил неделю в той долине. Она сама пригласила меня. Обещала дать собак, нарты и проводников, которые укажут мне самую удобную дорогу через перевал в пятистах милях от их становища. Ее шатер стоял в стороне от других, на высоком берегу реки, а несколько девушек-индианок стряпали для нее и прислуживали ей. Мы беседовали с ней, беседовали без конца, пока не пошел первый снег и не установился санный путь. И вот что Люси рассказала мне: она родилась на границе, в семье бедных переселенцев, знаете, какая у них жизнь: работа, работа, которой не видно конца.

«Я не замечала красоты мира, — рассказывала она. — У меня не было времени. Я знала, что она рядом, повсюду вокруг нашей хижины, но нужно было печь хлеб, убирать, стирать и делать всякую другую работу. Порой я умирала от желания вырваться на волю, особенно весной, когда пение птиц просто сводило меня с ума. Мне хотелось бежать далеко в высокой траве пастбищ, чтобы ноги мокли от росы, перелезть через изгородь и уйти в лес, далеко-далеко, до самого перевала, чтобы оттуда увидеть все. Хотелось бродить по каньонам, у озер, дружить с выдрами и пятнистыми форелями, тихонько подкравшись, наблюдать за белками, кроликами, за всякими зверьками, посмотреть, чем они заняты, вывести их тайны.

Мне казалось, что, будь у меня время, я бы все время лежала в траве среди цветов и могла бы слышать, о чем они шепчутся между собой, рассказывая друг другу то, чего не знаем только мы, люди».

Трифтен подождал, пока наполнят его стакан.

— А в другой раз она сказала: «Меня мучило желание бродить по ночам, как дикие звери, при свете луны, под звездами, бежать обнаженной, чтобы мое белое тело ласкал прохладный бархат мрака, бежать не оглядываясь. Как-то раз вечером, после тяжелого, очень жаркого дня — в этот день все не ладилось у меня, масло не сбивалось, — я была раздражена, измучена и сказала отцу, как мне хочется иногда бродить ночью. Он испуганно и удивленно посмотрел на меня, дал две пилюли и велел лечь в постель и хорошенько выспаться, тогда я утром буду здорова и весела. С тех пор я больше никому не поверяла свои мечты».

Хозяйство их пришло в полный упадок, семья голодала, и они перебрались в Сиэтл. Там Люси работала на фабрике, где рабочий день долг и работа изнурительная, тяжелая. Спустя год она поступила официанткой в дешевый ресторан — харчевню, как она называла его.

«Я думаю, — сказала мне однажды Люси, — что у меня всегда была потребность в романтике. А какая же романтика в сковородах и корытах, на фабриках и в дешевых ресторанах?»

Когда ей исполнилось восемнадцать лет, она вышла замуж за человека, который собирался открыть ресторан в Джуно. У него были небольшие сбережения, и ей он казался богачом. Люси не любила его — в разговорах со мной она всегда это подчеркивала, — но она очень устала, и ей надоело тянуть лямку изо дня в день. К тому же Джуно находится на Аляске, и Люси захотелось увидеть этот край чудес. Но мало ей довелось увидеть. Муж ее открыл дешевый ресторан, и очень скоро Люси узнала, для чего он женился на ней: просто чтобы иметь даровую служанку. Скоро ей всем пришлось заправлять и делать всю работу, от обслуживания посетителей до мытья посуды. Кроме того, она целый день стряпала. Так она прожила четыре года.

Можете себе представить это дикое лесное существо с первобытными инстинктами, жаждущее свободы, заточенным в грязный кабак и принужденным выполнять каторжную работу на протяжении четырех убийственных лет!

«Все было так бессмысленно, — говорила она. — Кому это было нужно? Для чего я родилась? Неужели весь смысл существования в том, чтобы работать, работать и всегда быть усталой? Ложиться

спать усталой, вставать усталой; и каждый день как две капли воды похож на другой или еще тяжелее!» От разных святош она слышала разговоры о бессмертии, но сомневалась в том, чтобы ее земная жизнь была залогом бессмертия.

Мечты о другой жизни не переставали волновать ее, хотя они приходили все реже. Она прочла несколько книг — не знаю, какие именно, — вероятно, романы из серии «Библиотека Приморья», но даже они давали пищу ее фантазии.

«Иногда, — рассказывала она, — у меня так кружилась голова от кухонной жары и чада, что казалось, если я не глотну свежего воздуха, то упаду в обморок. Я высовывалась из окна, закрывала глаза, и передо мной вставали самые удивительные картины. Мне представлялось, что я иду по дороге, а кругом — такая тишина, такая чистота: ни пыли, ни грязи. В душистых лугах журчат ручейки, играют ягнята, ветерок разносит запахи цветов, и все залито мягким солнечным светом. Коровы лениво бродят по колено в воде, и девушки купаются в ручье, такие беленькие, стройные. Мне казалось, будто я нахожусь в Аркадии¹. Я читала про эту страну в какой-то книге. А может быть, мечтала я, из-за поворота дороги выедут вдруг верхом рыцари в сверкающих на солнце доспехах или дама на белой как снег лошади. Где-то вдали мне мерещились башни замка. Или вдруг чудилось, что за следующим поворотом я увижу белый, словно сотканный из воздуха, сказочный дворец с фонтанами, цветами и павлинами на лужайке... А когда я открывала глаза, кухонный жар снова ударял мне в лицо и я слышала голос Джейка, моего мужа: „Почему ты не подаешь бобов? Думаешь, я буду ждать целый день?“ Романтика! Пожалуй, я была ближе всего к ней в тот день, когда пьяный повар-армянин поднял скандал и пытался перерезать мне горло кухонным ножом, а я уложила его на месте железной ступкой, которой толкла картофель, но раньше обожгла себе руку о горячую плиту.

Я мечтала о беззаботной, радостной жизни, красивых вещах... однако мне часто приходило в голову, что счастье не суждено мне и мой удел — только стряпня и мытье посуды. В то время в Джуно разгульное было житье. Я видела, как вели себя другие женщины, но их образ жизни не соблазнял меня. Я хотела быть чистой; не знаю почему, но вот хотелось так. Не все ли равно — умереть за мытьем посуды или так, как умирали эти женщины?»

¹ *Аркадия* — гористая область в центре полуострова Пелопоннес на юге Греции, с античных времен ставшая нарицательным обозначением безмятежного, идиллически-счастливого края.

Трифтен на мгновение умолк, словно желая собраться с мыслями.

— Да, вот какую женщину я встретил там: она была вождем племени диких индейцев и владела территорией в несколько тысяч квадратных миль. И случилось это довольно просто, хотя, казалось, ей суждено было жить и умереть среди горшков и сковородок. Мечта ее осуществилась.

«Настал день моего пробуждения, — рассказывала она, — в этот день мне случайно попал в руки клочок газеты со словами, которые я помню до сих пор». И она процитировала мне строки из «Воля человека» Торо:

«Молодые сосны вырастают в мансовом поле из года в год, и это для меня явление отрадное. Мы говорим, что надо цивилизовать индейцев, но это не сделает их лучше. Оставаясь воинственным и независимым, живя уединенной жизнью в лесу, индеец не утратил связи со своими богами, и время от времени ему выпадает счастье редкого и своеобразного общения с природой. Ему близки звезды и чужды наши кабаки. Неугасимый свет его души кажется тусклым, ибо он далек нам. Он подобен бледному, но благодетельному свету звезд, соперничающему с ослепительно-ярким, но вредным и недолговечным пламенем свечей.

У жителей островов Общества¹ были боги, рожденные при свете дня, но они считались менее древними, чем боги, рожденные в ночи...»

Люси процитировала эти строки от слова до слова, и они в ее устах звучали торжественно, как догмат веры — правда, языческой, но вобравшей в себя всю живую силу ее мечты.

«Вот и все: остальное было оторвано, — добавила Люси с глубокой печалью в голосе. — Ведь это был только клочок газеты. Торо — мудрый человек. Хотелось бы побольше узнать о нем».

Она помолчала, и, клянусь вам, ее лицо было невыразимо прекрасно и невинно, как лицо святой, когда она сказала через минуту: «Я была бы для него подходящей женой».

Затем она продолжала свой рассказ:

«Как только я прочла эти строки, мне сразу стало понятно то, что творилось со мной. Видно, я рожденная в ночи. Всю жизнь я прожила среди рожденных днем, а сама была рожденной в ночи.

¹ *Острова Общества* — архипелаг в Тихом океане, на западе Французской Полинезии; назван в честь Лондонского королевского общества, которое финансировало экспедицию, открывшую эти острова в 1767 г. Наиболее крупный остров архипелага — Таити.

Вот почему мне не мила была такая жизнь, эта стряпня и мытье посуды, вот почему мне так хотелось бегать обнаженной при лунном свете. Я поняла, что грязный кабаk в Джуно не место для меня. И вот тогда-то я и сказала: „Довольно“. Я уложила свою жалкую одежонку и вышла. Джейк пытался удержать меня.

„Что это ты задумала?“ — спросил он.

„Ухожу в лес, туда, где мне место“.

„Никуда ты не пойдешь, — говорит он и хватает меня за плечи. — Это у тебя от жары в кухне разум помутился. Выслушай меня прежде, чем натворишь бед“.

Но я направила на него револьвер, маленький кольт сорок четвертого калибра, сказала: „Вот мой ответ“ — и ушла».

Трифтен осушил свой стакан и потребовал другой.

— Знаете, что сделала эта девушка? Ей было тогда двадцать два года. Она провела всю жизнь на кухне и знала о мире не больше, чем я о четвертом или пятом измерении. Перед ней были открыты все пути, однако она не пошла танцевать в кабаk. Она пошла прямо на берег, так как на Аляскинской ручке предпочитают путешествовать водным путем. Как раз в это время индейская пирога отправлялась в Дайю — вы знаете лодки этого типа, выдолбленные из ствола дерева, узкие, глубокие, длиной футов в шестьдесят. Люси заплатила индейцам несколько долларов и села в лодку.

«Романтика? — говорила она мне. — Романтика началась с первой же минуты. В лодке было, кроме меня, три семьи, так что нельзя было пошевелиться. Под ногами вертелись собаки и ребятишки, и всем приходилось грести, чтобы лодка двигалась. А вокруг высились величественные горы, и над ними облака то и дело скрывали солнце. А тишина какая! Дивная тишина! Иногда где-то вдалеке, среди деревьев, мелькал дымок на охотничьей стоянке. Это путешествие напоминало пикник, веселый пикник, и я уже верила, что мои мечты сбудутся, и все время ожидала, что случится что-то необыкновенное. И оно случилось».

А первый привал на острове! А мальчики, бившие рыбу острогой! А большой олень, которого один из индейцев уложил на месте! Везде вокруг росли цветы, а подальше от берега трава была густая, сочная, в человеческий рост. Несколько девушек вместе со мной взбирались на холмы, собирали ягоды и коренья, кисловатые, но приятные на вкус. В одном месте мы набрали на большого медведя, который ужинал ягодами. Он зарычал и обратился в бегство, испуганный не меньше, чем мы. А жизнь в лагере, дым костра и запах свежей оленины! Это было восхитительно! Наконец-то я бы-

ла с рожденными в ночи и чувствовала, что мое место здесь, среди них! В эту ночь, ложась спать, я подняла угол шатра и смотрела на звезды, сверкавшие за черными уступами гор, слушала голоса ночи и впервые в жизни чувствовала себя счастливой, зная, что так будет и завтра, и послезавтра, всегда, всегда, ибо я решила не возвращаться. И я не вернулась.

Романтика! Я узнала ее на следующий день. Нам нужно было перебраться через большой морской рукав шириной не менее двенадцати-пятнадцати миль. И вот, когда мы были на середине его, поднялась буря. Эту ночь я коротала на берегу одна с огромным волкодавом, так как больше никого не осталось в живых».

Вообразите себе, — сказал, прерывая рассказ, Трифтен, — лодка перевернулась и затонула, а все люди погибли, разбившись о скалы. Только Люси, ухватившись за хвост собаки, добралась до берега, избежав скал, и очутилась на крохотной отмели, единственной на протяжении многих миль.

«К счастью, это был материк, — сказала она. — Я пошла вглубь, прямо через леса и горы, куда глаза глядят. Можно было подумать, что я ищу чего-то, — так спокойно я шла. Я ничего не боялась. Ведь я была рожденной в ночи, и огромный лес не мог погубить меня. А на второй день я нашла то, что мне было нужно. Я увидела полуразвалившуюся хижину на маленькой просеке. Она пустовала, должно быть, уже много лет. Крыша провалилась. На койках лежали истлевшие одеяла, а на очаге стояли горшки и сковородки. Но не это было самое интересное. Вы ни за что не угадаете, что я нашла за деревьями. Там оказались скелеты восьми лошадей, когда-то привязанных к дереву. Они, наверное, умерли с голоду, и от них остались только маленькие кучки костей. У каждой лошади на спине была поклажа, а теперь среди костей валялись мешки из крашеного холста, а в этих мешках находились другие, из лосиных шкур, а в них как вы думаете что?»

Люси нагнулась и из-под груды еловых веток, служивших ей постелью, вытащила кожаный мешок. Она развязала его, и мне в руки полился поток золота, какого я никогда не видел: здесь был крупный золотой песок, но больше всего самородков, и по цвету видно было, что все это ни разу еще не подвергалось промывке.

«Ты говоришь, что ты горный инженер, — обратилась она ко мне, — и знаешь эту страну. Можешь ты назвать ручей, где добывают золото такого цвета?»

Я не мог. Золото было почти чистым, без всякой примеси серебра, и я сказал об этом Люси.

«Верно, — подтвердила она, — я продаю его по девятнадцать долларов за унцию. За золото с Эльдорадо больше семнадцати не дают, а минукскому цена около восемнадцати. Я нашла среди костей восемь выюков золота, по сто пятьдесят фунтов в каждом!»

«Четверть миллиона долларов!» — воскликнул я.

«Именно так выходит и по моему грубому подсчету, — сказала она. — Вот вам и романтика! Работала, как вол, все свои годы, а стоило мне вырваться на волю — и за три дня столько приключений! Что же случилось с людьми, которые добыли все это золото? Я часто думала об этом. Оставив нагруженных и привязанных лошадей, они бесследно исчезли с лица земли. Никто здесь о них не слышал, никому не известна их участь. И я, рожденная в почи, считаю себя по праву их наследницей».

Трифтен помолчал, закуривая сигару.

— Знаете, что сделала эта женщина? Она спрятала все золото и, захватив с собой только тридцать фунтов, отправилась на берег. Здесь она подала сигнал плывшей мимо лодке и в ней добралась до фактории Пэта Хили в Дайе. Закупив снаряжение, она перебралась через Чилкутский перевал. Это было в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году, за восемь лет до открытия золота в Клондайке, когда берега Юкона еще представляли собой мертвую пустыню. Люси боялась индейцев, но она взяла с собой двух молодых скво, перебралась через озера и спустилась вниз по реке к первым стоянкам на нижнем Юконе. Несколько лет она блуждала здесь, а затем добралась до того места, где я встретил ее. Оно ей понравилось, по ее словам, оттого, что она увидела «огромного самца-оленья, стоявшего в глубине долины по колена в пурпурных ирисах». Она осталась жить с индейцами, лечила их, завоевала их доверие и постепенно стала править ими. С тех пор она только раз уходила отсюда: с группой молодых индейцев перешла Чилкут, вырыла из тайника спрятанное ею золото и перенесла его сюда.

«И вот я живу здесь, незнакомец, — закончила Люси свой рассказ, — а вот самое ценное из всего, чем я владею».

Она вытащила мешочек из оленьей кожи, который висел у нее на шее, словно медальон, и открыла его. Внутри лежал завернутый в промасленный шелк клочок газеты, пожелтевший от времени, истертый и замусоленный, на котором был напечатан отрывок из Торо.

«И вы счастливы? Довольны? — спросил я. — Имея четверть миллиона долларов, вы могли бы жить не работая и в Штатах. Вам здесь, должно быть, очень многого не хватает».

«Не так уж много, — ответила она. — Я не поменялась бы ни с одной женщиной в Штатах. Мое место здесь, среди таких людей, как я. Правда, бывают минуты, — и в ее глазах я увидел голодную тоску, о которой уже говорил вам, — бывают минуты, когда мне страстно хочется, чтобы здесь очутился этот Торо».

«Зачем?» — спросил я.

«Чтобы я могла выйти за него замуж. Временами я чувствую себя очень одинокой. Я ведь только женщина, самая обыкновенная женщина. Я слышала про женщин другого сорта, которые, как и я, сбегали из дому и проделывали удивительные вещи, например становились солдатами или моряками. Но это странные женщины. Они и с виду больше похожи на мужчин, чем на женщин, не знают потребностей, которые есть у настоящих женщин. Они не жаждут любви, не жаждут иметь детей, держать их в объятиях и сажать к себе на колени. А я как раз такая женщина. Судите сами, разве я похожа на мужчину?»

Нет, она ничуть не походила на мужчину. Она была красивая, смуглая женщина с здоровым, округлым телом и чудесными темно-голубыми глазами.

«Разве я не женщина? — переспросила она. — Да, такая, как большинство других. И странно: оставаясь во всем рожденной в ночи, я перестаю быть ею, когда дело касается любви. Я думаю, дело в том, что люди всегда любят себе подобных. Так было и со мной — по крайней мере, все эти годы».

«Неужели же...» — начал я.

«Никогда, — прервала она, и по глазам я понял, что она говорит правду. — У меня был только один муж — я теперь мысленно называю его Быком. Он, наверно, и сейчас держит кабак в Джуно. Навестите его, если будете в тех местах, и вы убедитесь, что он заслужил это прозвище».

Я действительно разыскал этого человека два года спустя. Он оказался именно таким, каким описала его Люси. Флегматичный, толстый — настоящий бык. Он ходил, волоча ноги, между столиками своей харчевни, прислуживая посетителям.

«Вам нужна бы жена в помощь», — сказал я ему.

«У меня она была когда-то», — ответил он.

«Овдовели?»

«Да, померла жена. Она всегда твердила, что кухонный чад ее с ума сведет. Так и случилось. В один прекрасный день она пригрозила мне револьвером и удрала с сивашами в пироге. Их настигла буря, и все погибли».

Трифтен опять наполнил свой стакан и долго молчал.

— Ну, что же женщина? — напомнил Милнер. — Ты остановился на самом интересном месте. Что дальше?

— А дальше, — продолжал Трифтен, — вот что: судя по ее словам, она оставалась дикаркой во всем, но мужем желала иметь человека своей расы. И она очень мило, напрямик объяснила мне, что хочет стать моей женой.

«Незнакомец, — сказала она, — вы мне очень по сердцу. Если вы осенью смогли перейти Скалистые горы и прийти сюда, значит вам нравится такая жизнь, какую мы ведем. Здесь красивые места, лучше не сыщешь. Почему бы вам не остаться здесь? Я буду хорошей женой».

Она ждала ответа. Должен признаться, соблазн был велик. Я уже почти влюбился в нее. Ведь вы знаете, я так и не женился. И теперь, оглядываясь на прожитую жизнь, могу сказать, что Люси была единственной женщиной, к которой меня влекло. Но вся эта история казалась мне слишком несурозной. И я солгал, как джентльмен: сказал ей, что я уже женат.

«А жена ждет тебя?» — спросила она.

«Да», — ответил я.

«И она любит тебя?»

«Да».

Тем и кончилось. Люси больше никогда не возвращалась к этому разговору... кроме одного раза, когда ее страсть прорвалась наружу.

«Мне стоит лишь приказать, — сказала она, — и ты не уйдешь отсюда... Да, стоит мне сказать слово — и ты останешься здесь. Но я не произнесу его. Я не хочу тебя, если ты не хочешь меня и тебе не нужна моя любовь».

Она вышла и приказала, чтобы меня снарядили в дорогу.

«Право, это очень печально, что ты уезжаешь, — сказала она, прощаясь со мной. — Ты мне нравишься, я полюбила тебя. Если когда-нибудь передумаешь, возвращайся сюда».

А мне в ту минуту очень хотелось поцеловать ее, ведь я был почти влюблен, но я стеснялся. И к тому же не знал, как она отнесется к этому. Она сама пришла ко мне на помощь.

«Поцелуй меня, — сказала она, — поцелуй, чтобы было о чем вспомнить».

И мы поцеловались там, в снежной долине у Скалистых гор. Я оставил Люси на краю дороги и пошел вслед за своими собаками. Прошло полтора месяца, прежде чем я, одолев перевал, добрался до первого поста на Большом Невольничьем озере.

КОНЕЦ ИСТОРИИ

Город гремел за окнами, как отдаленный прибор. Бесшумно двигаясь, официант принес нам сифоны. В тишине голос Трифтен звучал, как погребальный колокол:

— Было бы лучше, если бы я остался там. Посмотрите на меня.

И мы посмотрели на его седоватые усы, на плешивую голову, мешки под глазами, отвислые щеки, двойной подбородок, на всю эту картину разрушения когда-то сильного и крепкого мужчины, который устал, выдохся, разжирел от слишком легкой и слишком сытой жизни.

Еще не поздно, старик, — едва слышно сказал Бардуэл.

Клянусь богом, жаль, что я такой трус! — воскликнул Трифтен. — Я мог бы вернуться к ней. Она и сейчас там. Я мог бы подтянуться и жить по-другому еще много лет... с ней... там, в горах. Остаться здесь — это самоубийство! Но взгляните на меня: я старик, а ведь мне всего сорок семь лет. Беда в том, — он поднял свой стакан и посмотрел на него, — беда в том, что такое самоубийство не требует мужества. Я избаловался. Мысль о долгом путешествии на собаках пугает меня; мне страшны сильные утренние морозы, обледенелые нарты.

Привычным движением он снова поднес к губам стакан. Затем внезапно в порыве гнева сделал движение, как бы желая швырнуть его на пол. Но гнев сменился нерешительностью, затем раздумьем. Стакан опять поднялся и замер у губ. Трифтен хрипло и горько рассмеялся, но слова его звучали торжественно:

— Выпьем за Рожденную в Ночи! Она *была* поистине необыкновенной женщиной!

1910, опубл. 1911

КОНЕЦ ИСТОРИИ

I

Четверо дулись в вист за грубо сбитым еловым столом, и, когда кто-то хотел придвинуть к себе взятку, карты цеплялись за его неровности. Мужчины сидели в нижних фуфайках, на лицах бисером проступал пот, хотя ноги, обутые в мокасины поверх шерстяных носков, покалывало от холода. Такова была разница температур в тесной хижине между полом и воздухом всего в ярде-полтора над ним. Железная юконская печка раскалилась докрасна и весело

гудела, но в каких-то восьми футах от нее, на низкой полке для съестных припасов возле двери, лежали твердые как камень куски мерзлой лосятины и бекона. Снизу дверь на добрую треть покрылась толстым слоем изморози. В щелях между бревнами за изголовьем коек посверкивал иней. Свет проникал через окошко, затянутое промасленной бумагой, и от влажного дыхания людей на бумаге снизу тоже выросла изморозь толщиной с дюйм.

Они приступили к решающему робберу — проигравшая пара игроков должна была сделать лунку для ловли рыбы на Юконе, пробиться к воде сквозь семь футов снега и льда.

— Где это видано, чтобы в марте грянул такой мороз, — заметил один, тасуя карты. — Как думаешь, Боб, сколько сейчас?

— Не знаю, пятьдесят пять, если не все шестьдесят. А вы, док, что скажете?

Доктор повернул голову и взглянул на заиндевевшую часть двери, что-то прикидывая в уме.

— Пятьдесят, не больше. Скорее чуть меньше... сорок девять¹. Видишь, наледь практически на отметке «пятьдесят», но верхний край рваный. Когда здесь было семьдесят, лед поднялся выше на четыре дюйма. — Он взял со стола сданные карты и принялся разбирать их по масти и старшинству. В дверь постучали.

— Входите! — не отвлекаясь от карт, откликнулся доктор.

Вошедший был крупный, плечистый швед, хотя его национальность прояснилась не раньше, чем он снял шапку с наушниками и оттаял лед с бороды и усов, скрывавший черты лица. Пока он был занят собой, четверо за столом продолжали играть.

— Я слышал, здесь доктор, — сказал швед, беспокойно переводя взгляд с одного на другого. От жестокой, давно не проходящей боли лицо его вытянулось и осунулось. — Я шел далеко. Река Вайо, северная развилка.

— Я доктор. Что случилось?

Вместо ответа швед показал свою левую руку с чудовищно распухшим средним пальцем и принялся сбивчиво, бестолково рассказывать, откуда у него эта напасть.

— Дай-ка я посмотрю, — нетерпеливо перебил его доктор. — Положи палец на стол. Сюда, вот так!

Очень бережно, как будто у него там был фурункул, швед коснулся пальцем стола.

— Гм, — буркнул доктор, — сухожильная гигрома. Надо было из-за такого пустяка тащиться за сто миль! Сейчас вылечим,

¹ 45 °C ниже нуля.

секундное дело. Смотри и запоминай, в следующий раз сам справишься.

И он без лишних предисловий, со всей силы, под строго прямым углом резко ударил ребром ладони по кривому распухшему пальцу. От боли и неожиданности швед взвыл — взревел, как дикий зверь; он и оскалился, как зверь, готовый броситься на человека, сыгравшего с ним злую шутку.

— Тихо, тихо! — приструнил его доктор категоричным, не допускавшим возражений тоном. — Ну, теперь полегче, а? Наверняка. В следующий раз сам справишься... Продолжим, Стротерс, сдавай. Сейчас мы вас добьем.

Медленно, как до разъяренного быка, до шведа стало доходить, что никто над ним не издевался. Едва пронзительная боль от удара утихла, пальцу сразу стало лучше. Сам не свой от изумления, швед недоверчиво разглядывал многострадальный палец, медленно сгибая и снова разгибая его. Он полез в карман и достал мешочек с золотом.

— Сколько?

Доктор нетерпеливо покачал головой.

— Нисколько. Я не практикую... Твой ход, Боб.

Швед грузно потоптался на месте, еще раз полюбовался на свой палец и после с восхищением уставился на доктора.

— Вы хороший человек. Как вас зовут?

— Линдей. Доктор Линдей, — ответил за него Стротерс, великодушно спасая соперника по игре от новой вспышки раздражения.

Швед все топтался, не уходил, и в конце партии Линдей сказал ему:

— Скоро вечер, можешь остаться здесь на ночь. В такой холод глупо пускаться в путь. У нас есть свободная койка.

Линдей, худощавый брюнет со впалыми щеками и тонким ртом на гладковыбритом смуглом лице, с виду был отменно здоров и вынослив, и его быстрые движения отличались безупречной точностью. В отличие от многих, он не страдал привычкой попусту тереть карты. Взгляд его черных глаз, прямой и пронзительный, проникал, казалось, в самую суть вещей. Красивые руки с тонкими нервными пальцами, словно созданные для какой-нибудь ювелирной работы, у всякого, кто хотя бы мимоходом их замечал, оставляли впечатление уверенности и силы.

— Эта партия наша, — объявил он, придвинув к себе последнюю взятку. — Скоро выясним, кто возьмет роббер и отправится долбить лунку.

В дверь снова постучали, и Линдей крикнул с досады.

— Похоже, не судьба нам доиграть этот роббер, — проворчал он и, когда дверь отворилась, спросил вошедшего: — Ну а с *тобой* что стряслось?

Незнакомец тщетно пытался пошевелить онемевшими на морозе челюстями. Судя по всему, он добирался сюда много часов, а может быть, и не один день. Кожа на скулах почернела от многократных обморожений. Лицо от носа до подбородка превратилось в кусок сплошного льда с дыркой посередине, через которую он дышал. Через нее же он слезывал желтую от табачной жвачки слюну: стекая по подбородку, слюна замерзла и превратилась в янтарную сосульку — наподобие бороды-эспаньолки.

Не имея возможности говорить, он помотал головой, усмехнулся одними глазами и пошел к печке отогревать рот, чтобы вновь обрести дар речи. Желая ускорить дело, он пальцами выковыривал кусочки подтаявшего льда, и они со стуком и шипением падали на раскаленное железо.

— Со мной ничего, — наконец ответил он на вопрос Линдея. — Но если здесь есть доктор, то он нам срочно нужен. Там у нас на Литтл-Пеко одного парня порвала пантера, так его искромсала, что страшно смотреть.

— Далеко это отсюда? — требовательно спросил доктор Линдей.

— Да миль сто...

— Как давно?

— Три дня — быстрее я добраться не смог.

— Повреждения?

— Плечо вывихнуто. Ребра сломаны как пить дать. И правая рука тоже. Лицо цело, а тело все изорвано до кости. Пару-тройку самых тяжелых ран мы на первый случай зашили, а сосуды перетянули шпагатом.

— Тогда порядок! — криво усмехнулся Линдсей. — Где эти раны?

— На животе.

— Воображаю, какой у него теперь вид.

— Зря вы так. Мы ж сперва клопомором промыли, а уж потом стали зашивать — на время, понятно. У нас был только моток суровых ниток, но их мы тоже промыли.

— Считай мертвец, — вынес вердикт Линдей, сердито перебирая в руке карты.

— Ну нет, он не помрет. Он в курсе, что я поехал за доктором. Наизнанку вывернется, а дотянет до вашего приезда, не даст себе умереть. Уж я его знаю.

КОНЕЦ ИСТОРИИ

— Христианская наука против гангрены? Ну-ну, — последовал язвительный ответ. — Как бы то ни было, я не практикую. И я не тот, кто мчится за сто миль в минус пятьдесят ради мертвеца.

— А по-моему, вы как раз тот, и это ради живого, который не думает умирать.

Линдей покачал головой.

— Мне жаль, что ты зря проделал такой путь. Остайся хотя бы переночевать.

— Какое! Через десять минут тронемся вместе.

— Не много ли ты на себя берешь? Откуда такая уверенность?

И тут Том Доу в первый и последний раз в жизни блеснул красноречием:

А оттуда, что он точно будет жить, пока вас не дождется, даже если вы еще неделю будете тут раздумывать. К тому же при нем неотлучно жена — не из тех, что слезы льют и всякое такое, — и она поможет ему дотянуть до вашего приезда. Они друг для друга готовы горы свернуть, а воли у нее не меньше, чем у него. Если он начнет сдаваться, она всю свою бессмертную душу вложит в него, но заставит его жить. Хотя он сдаваться не думает, хоть об заклад бейтесь. А я и побьюсь. Ставлю три к одному золотом, что, когда вы приедете на место, он будет жив. У меня там на берегу собачья упряжка. Вы только соберитесь за десять минут, и мы домчимся меньше чем за три дня, потому как тропа проложена. Ну, я пошел к собакам, жду вас через десять минут.

Том Доу опустил наушники шапки, натянул рукавицы и вышел из хижины.

— Пропади ты пропадом! — крикнул ему вслед Линдей, сверля возмущенным взглядом закрывшуюся дверь.

II

Той же ночью, когда давно уже стемнело и позади остались двадцать пять миль пути, Линдей и Том Доу разбили лагерь. Устроили все просто, но разумно: на снегу развели костер; рядом разложили общую постель из меховых одеял, набросанных поверх еловых веток; позади натянули на колышки брезент — заслон для сохранения тепла. Потом Доу накормил собак и принялся колоть лед и рубить дрова. Линдей, сидя на корточках, разогревал еду; замерзшие щеки горели, как будто в них впились тысячи игл. Они плотно поели, раскурили по трубке, поговорили о том о сем, пока сушили у огня мокасины, и уснули мертвым сном здоровых усталых мужчин.

Наутро небывалый для весны мороз вдруг отступил. По прикидке Линдея, температура поднялась до пятнадцати градусов ниже нуля и продолжала расти. Доу встревожился. Днем они окажутся в каньоне, объяснил он, и, если снег начнет быстро таять, на дне будет вода. Стены каньона — высотой от нескольких сотен до нескольких тысяч футов. В крайнем случае можно идти и поверху, но подъем сильно замедлит путь.

Тем вечером, выбрав укромное место в темном неприютном ущелье и раскурив трубки, они уже ворчали на жару, и оба сошлись во мнении, что температура, должно быть, поднялась выше нуля — впервые за последние полгода.

— Сроду никто не слыхивал, чтобы пантера забралась так далеко на север, — говорил Доу. — Роки называет ее «кугуар». Но я сам немало их пострелял еще в Орегоне, в округе Карри, откуда я родом, и у нас их всегда называли пантерами. Ну да как ни называй, а такой крупной кошки я в жизни своей не видал. Огромная зверюга. И как ее занесло в эти края, ведь пантеры здесь не водятся? Загадка!

Линдей никак не отреагировал на его слова — он уже клевал носом. От надетых на палки мокасин шел пар, и Линдей за ними не следил, не поворачивал так и сяк, чтоб сохли быстрее. В снегу, свернувшись в пушистые шары, спали собаки. Угольки костра слабо потрескивали, лишь умножая царившую вокруг мертвую тишину. Проснулся он внезапно, будто от толчка, и посмотрел на Доу; тот встретился с ним глазами и кивнул. Оба напрягли слух. Где-то вдалеке тишину нарушал невнятный гул — он постепенно усиливался, превращаясь в раскатистый, грозный рев. Звук неотвратимо приближался, достигая горных вершин и потаенных глубин каньона, пред ним склонялся лес, гнули стволы худосочные, цеплявшиеся корнями за расщелины в скалах сосны, — и тогда два путника поняли, что за гость к ним пожаловал. Буйный, теплый, терпкий от запахов ветер налетел и промчался мимо, взметнув сноп искр из костра. Собаки забеспокоились, проснулись, сели и, задрав морды кверху, протяжно, по-волчьи завывали.

— Это чинук¹, — сказал Доу.

— Значит, поверху нам не пройти, только по реке?

¹ Чинук — сухой и теплый юго-западный ветер, дующий на восточных склонах Скалистых гор, а также на прилегающих к ним участках прерий; поднимается внезапно и сопровождается резким повышением температуры воздуха, вызывающим быстрое таяние снегов.

— Точно. Зато десять миль по реке пройти легче, чем одну — по горам. — Долгую минуту Доу испытующе смотрел на Линдея. — Мы в пути всего пятнадцать часов, — перекрикивая ветер, добавил он и снова выжидательно помолчал. — Док, — наконец прямо спросил он своего спутника, — вы идете со мной дальше?

Вместо ответа Линдей выбил трубку и начал натягивать на ноги непросохшие мокасины. На пару они, сгибаясь пополам от ветра, за несколько минут запрягли собак, свернули лагерь, уложили на нарты и обвязали веревками походную кухню и неиспользованную постель. Потом в крошечной тьме они двинулись дальше и всю ночь гнали вперед по старому следу, который Доу проложил неделей раньше. И всю ночь ревел чинук, и они криками подстегивали собак и заставляли работать свои онемевшие от усталости мускулы. Они выдержали двенадцать часов такого напряжения и только тогда остановились позавтракать. Всего же в пути они провели двадцать семь часов.

— Теперь часок поспим, — решил Доу, после того как они до отказа набили животы лосятиной, поджаренной с беконом.

Он дал напарнику проспать целых два часа, но сам боялся сомкнуть глаза. Чтобы занять себя, он делал метки в рыхлом, подтаявшем снегу. Снег убывал на глазах — просел на три дюйма, пока Линдей спал. Со всех сторон, вдалеке и совсем рядом, на фоне привычного голоса весеннего ветра пробивалась тонкая трель невидимых вод. Река Литтл-Пеко, на помощь которой спешили бесчисленные ручейки, взбунтовалась, наконец ощутив в себе силы разорвать ледяные оковы зимы, и под ее натиском лед ломался и трещал.

Доу тронул Линдея за плечо раз-другой, потом легонько потряс, потом потрянул уже как следует.

— Док, — восхищенно сказал он вполголоса, — а вы сильны, вон сколько миль зараз отмахали.

Сонные черные глаза под набрякшими веками подтвердили, что похвала принимается.

— Но сейчас не это главное. Роки весь изодран. Я уже вам говорил, что сам помогал зашить ему внутренности. Док... — Он потряс доктора за плечо (глаза у того снова закрылись). — Ну же, док! Сейчас главное — можете вы идти дальше?.. Слышите меня? Я вас спрашиваю, можете идти?

Пинками они вырвали из сна измученных собак, те огрызались и скулили. Вперед продвигались еле-еле, покрывая не больше двух

миль в час, и при первой же возможности собаки ложились в мокрый снег.

— Еще двадцать миль, и выйдем из ущелья, — пообещал Доу. — А там пусть хоть весь лед тронется, не страшно, по берегу доберемся, десять миль — и мы на месте. Так что, док, считайте, почти добрались. Как подлечите Роки, сможете вернуться вплавь на каноэ, всего день пути вниз по реке.

Однако лед под ними с каждым часом вел себя беспокойнее, вдоль береговой линии появились трещины, оторвавшиеся крупные льдины дюйм за дюймом опасно вздымались. Там, где лед был еще припаян к берегу, его заливало водой, но делать нечего — приходилось шлепать по воде и месить снежную кашу. Река сердито ворчала, словно сама с собой разговаривала. На ледяной поверхности возникали трещины и разломы. В таких условиях они одолели несколько миль, и каждая из них стоила десяти миль по горам.

— Запрыгивайте в нарты, док, вздремните немного, — предложил Доу, но настаивать не стал — слишком красноречиво сверкнули в ответ два черных глаза.

Уже к полудню их настигло грозное предупреждение — теперь путь по реке был им заказан. Быстрое течение пригнало большие льдины, которые стали снизу биться в лед у них под ногами. Собаки испуганно визжали и норовили свернуть к берегу.

— Значит, выше река вскрылась, — пояснил Доу. — Скоро где-нибудь случится затор, вода будет прибывать, да как! — по сто футов за сто минут. Придется нам идти вёрхом, если сумеем отсюда выбраться. Ну, вперед! Живее!.. Вот незадача, а ведь на Юконе лед еще не одну неделю простоят...

Каньон в этом месте был, как назло, узкий, по берегам высились неприступные скалы. Хочешь не хочешь пришлось двигаться по реке; они и двигались, пока не стряслась беда. Внезапно послышался оглушительный хлопок, и лед с жутким треском раскололся под их упряжкой, прямо посередине. Две собаки угодили в пролом, течение толкало их назад, под лед, и они утащили за собой переднюю, ведущую собаку. Теперь в полынье барахталось три тела, которые своим весом подтягивали к краю льда двух оставшихся, истошно взвизгивавших псин. Доу и Линдей повисли на нартах, нечеловеческим усилием пытаясь их удержать, но их все равно постепенно тащило к полынье. Развязка наступила в считанные секунды. Доу полоснул ножом по концу шлейки, и последняя собака, коренник, кувырком перелетев через край разлома, скрылась

в воде. Теперь они одни стояли на большой оторвавшейся льдине, которая, медленно вращаясь, с хрустом и скрежетом терлась о прибрежный лед и камень. Едва они совместными усилиями вытолкнули нарты на берег и втащили их на безопасный уступ, как льдина встала стоймя, нырнула вниз и скрылась под нагромождением льда.

Мясо они уложили в заплечные мешки, одеяла связали в тюки, а нарты бросили. Доу взвалил на себя поклажу потяжелее, Линдей попытался воспротивиться, но Доу и слушать его не стал.

Вы свое отработаете, как только прибудем на место. Пошли.

В час дня они начали восхождение. В восемь вечера перевалили через гребень и рухнули без сил. С полчаса отлежавшись, приступили к делу: костер, котелок кофе и гигантская порция лосятины. Но сперва Линдей взвесил на руках груз и выяснил, что его ноша вдвое легче.

— Да ты железный, Доу, — изумился он.

— Кто? Я? Пфу! Видели бы вы Роки! Вот кто сделан из платины, из булата, из чистого золота, из всего самого прочного на свете! Я ведь вырос в горах, но мне до него далеко. А между прочим дома, в Карри, когда мы с ребятами гнали медведя, так у всех уже язык на плече, а мне хоть бы хны. Поэтому, когда мы с Роки в первый раз наладились вместе охотиться, я, грешным делом, про себя подумал: ну, держись у меня!.. И вот, значит, спускаю я собак со сворки, да и сам от них не отстаю. Глядь, а этот Роки тут как тут, на пятки мне наступает. Но я-то знаю, что скоро он начнет сдавать, и потому не дергаюсь, только шагу прибавляю — так приналег, что чертям жарко стало. Час проходит, другой, а ему все нипочем, чешет за мной по пятам, как приклеенный. Меня прямо зло взяло. «Раз такое дело, — говорю, — давай-ка теперь ты первый, а я за тобой». — «Давай», — отвечает. И как припустит! Отстать я не отстал, но, если честно, уморился вусмерть, пока не загнали мишку на дерево.

Такой это человек — ни в чем удержу не знает! Ему море по колено! Прошлой осенью, аккурат перед заморозками, шли мы с ним на привал — мы на белую куропатку ходили, — смеркалось уже. Я все патроны расстрелял, а у него один еще оставался. И тут собаки подняли гризли, молодую медведицу, загнали ее на дерево. Весу в ней было всего фунтов триста, но гризли есть гризли. Смотрю — он вскинул ружье. «Стой, — говорю, — не надо. У тебя ж всего один патрон, и сейчас слишком темно, как следует не прицелишься».

«А ты полезай на дерево», — отвечает он мне. Ну, на дерево я не полез, но скоро об этом пожалел: медведицу пуля только царапнула. Она свалилась с дерева, так что собаки еле успели отскочить, разъярилась, ревет как бешеная. В общем, попали мы в переделку. А дальше и того хуже. Медведица шаст в яму под поваленным деревом. И бревно-то здоровое, фута четыре в обхвате. С той стороны собакам к зверю не подобраться. А с другой — крутой скат, песок с камнями, ну собаки и свалились прямо в лапы к медведю. Назад им не выпрыгнуть, а там их медведица молотит почему зря. Кругом лес, темнеет, ни патронов, ничего!

И что же Роки? Лег на бревно, вынул нож и давай колоты! Только зверь-то сидит к нему задом, и дальше зада ему не достать, а собакам того гляди конец, и глазом моргнуть не успеешь. Роки уже сам не свой, жалко ему собак терять... И тогда он как вскочит на бревно, хват медведицу за огузок — и одним махом перебросил ее через бревно. Потом они все сцепились в клубок, все как есть, медведица, псы и Роки — рычат, визжат, царапаются. Прокатились так под уклон футов двадцать, пока не плюхнулись с разгону прямо в реку, а там глубина порядочная, и еще течение. На берег выбрались кто как мог, поодиночке... Нет, медведя он не добыл, зато собак спас. В этом весь Роки. Ежели что задумал — нет ему удержу!

Историю о том, как Роки угодил в беду, Линдей слышал только на следующей стоянке.

— В тот день я ходил неподалеку, вверх по реке, с милю от дома — искал подходящую березку для топорища. И вот на обратном пути слышу какой-то шум-гам в том месте, где у нас медвежья яма с капканом. Какой-то охотник оставил капкан в тайнике, а Роки нашел его и наладил. Ну так вот, слушайте дальше. По голосам я понимаю, что там Роки и братец его, Гарри. Сперва один крикнет и расхохочется, потом другой, вроде как игра у них. И знаете, что за потеху затеяли эти балбесы?.. Уж я навидался бедовых парней, у нас в Карри таких хватало, но Роки с братом всех за пояс заткнули!.. К ним в капкан угодила здоровенная пантера, и они шутки ради стали по очереди бить ее прутом по носу. Но это еще не все. Выхожу я, значит, из леска и вижу, как Гарри щелкает пантеру по носу. Потом отламывает от прута кусок, дюймов шесть, и передает прут Роки. Смекаете? С каждым разом прут делался короче. Не подумайте, что игра безобидная. Пантера-то была еще резвая: пригибалась, рычала, дергала головой и от прута увертывалась очень ловко. В любую минуту зверюга могла прыгнуть. Капканом ей за-

щемило заднюю лапу, это я неспроста говорю, потому что какая-то свобода движения у нее оставалась.

Глупую игру они затеяли, похвалялись друг перед другом своей удачей, а прут-то делался все короче, и пантера все свирепей. В конце концов от прута считай ничего не осталось — так, обломок дюйма четыре, и обломок этот достался Роки. «Ладно, хватит, выходи из игры», — говорит ему Гарри. «Это еще почему?» — спрашивает Роки. «Потому что если сейчас ты ее щелкнешь, то мне прута уже не достанется», — объясняет Гарри. «Тогда ты выйдешь из игры, а я у тебя выиграю», — рассмеялся Роки и стал продолжать.

Не дай мне бог еще когда такое увидеть! Пантера двинула круп назад, выгнула спину и напружинила все свои шесть футов. А у Роки пруттик — четыре дюйма. В общем, сцапала она его. Они схватились так, что не разберешь, где зверь, где человек. Стрелять нельзя. Хорошо еще Гарри не растерялся, сумел-таки всадить пантере нож в горло!

— Знал бы я, отчего он пострадал, ни за что бы не тронулся с места, — угрюмо проронил Линдей.

Доу понимающе закивал.

— Она меня предупредила. Строго-настрого наказала ни шепотом, ни вздохом не выдать, как все случилось.

— Он сумасшедший? — спросил Линдей, закипая от гнева.

— Да они все там чокнутые. Роки с братцем то и дело друг друга подбивают на всякие сумасбродства. Прошлой осенью я своими глазами видел, как они на спор переплывали пороги, а вода там опасная, да и стужа — по реке пошло уже ледяное крошево. Эти двое ни перед чем не остановятся. И она им под стать. Ничего не боится! Если бы Роки позволил, она бы сама полезла хоть в огонь, хоть в воду. Только Роки ее бережет, прямо пылинки сдувает. Обращается как с королевой, грубой работы делать не дает. Для этого есть я и еще один, и нам платят хорошее жалованье. Денег у них куры не клюют, и друг в друге они души не чают, это факт. На нынешнее место у реки они наткнулись прошлой осенью. Роки посмотрел кругом и говорит: «Неплохо было бы здесь поохотиться». А Гарри ему: «Ну так давай устроим стоянку». А я-то думал, они золото ищут. Какое! За всю зиму промыточный лоток никто в руки не взял.

Линдей разозлился еще больше:

— Не выношу сумасбродов! Хоть бросай все и возвращайся!

— Ну уж нет, даже не думайте, — решительно заявил Доу. — У нас и еды-то на обратный путь не хватит, а до цели осталось все-

го ничего — завтра будем на месте. Перевалим через водораздел и спустимся к хижине. И вот что еще: вы теперь слишком далеко от дома, и назад я вас ни за что не пуцую!

Как Линдей ни устал, в его глазах вспыхнул недобрый огонек, и Доу мигом сообразил, что позволил себе лишнее. Он примирительно поднял ладонь.

— Виноват, док. Уж вы не обессудьте, сам не знаю, что мелю, из головы не идут мои собачки, жаль мне их.

III

Не через день, а только через три, переждав на вершине горы внезапно налетевшую весеннюю выюгу, Линдей и Доу чуть живые добрались наконец до хижины в пойме Литтл-Пеко, прямо на берегу непрерывно рокотающей реки. После яркого солнечного света обитателей темной хижины толком было не разглядеть. Линдей вскользь заметил, что их трое — двое мужчин и женщина. Но они его не интересовали. Он сразу направился к койке с пострадавшим. Тот лежал на спине, глаза его были закрыты, и Линдей невольно обратил внимание на красивые, словно нарисованные брови и шелковистые каштановые кудри. Худое, изможденное лицо казалось слишком маленьким для мускулистой шеи, но тонкие черты, заострившиеся после всех испытаний, были тверды, словно их высекли из камня.

— Чем обрабатываете раны? — спросил женщину Линдей.

— Сулема... обычный... раствор, — услышал он в ответ.

Он быстро взглянул на нее, потом метнул взгляд на лицо больного и резко выпрямился. Женщина судорожно перевела дух и попыталась усилием воли взять себя в руки. Линдей повернулся к мужчинам.

— Вы все идите отсюда... Наколите дров, займитесь чем-нибудь. Идите!

Один начал было возражать.

— Случай серьезный, — объяснил Линдей. — Мне нужно поговорить с его женой.

— Я его брат, — заартачился мужчина.

Женщина с мольбой посмотрела на него. Он нехотя кивнул и направился к двери.

— И мне тоже уйти? — подал голос Доу, не вставая со скамьи, на которую рухнул, едва они вошли в дом.

— Да, и тебе.

Дождаясь, когда за ними закроется дверь, Линдей приступил к наружному осмотру больного.

— Ну-с? — произнес он. — Так это и есть твой Рекс Стрэнг?

Она опустила глаза на лежащего мужчину, словно желая удостовериться, что это и впрямь он, и молча перевела взгляд на Линдея.

— Может, ответишь?

Она пожала плечами.

— К чему? Ты ведь знаешь, что это Рекс Стрэнг.

— Премного благодарен. Но позволь напомнить тебе, что я вижу его впервые. Садись. — Он указал ей на табурет, а сам опустился на скамью. — По правде говоря, я смертельно устал. Проезжей дороги от Юкона сюда еще не проложили.

Он достал перочинный нож и принялся сосредоточенно вынимать занозу из большого пальца.

— Что ты намерен делать? — выждав с минуту, спросила она.

— Поем и выплусь, прежде чем тронуться в обратный путь.

— Я про... — Она качнула головой в сторону лежавшего без сознания мужчины.

— Ничего.

Она подошла к койке и легонько коснулась пальцами курчавых волос.

— Иными словами, ты его убьешь, — медленно проговорила она. — Ничего не делать — значит убить: ведь ты можешь спасти его, если пожелаешь.

— Ну а если и так? — У него в голове мелькнула какая-то мысль, и он с хриплым смешком сказал ей: — С незапамятных времен подобным образом весьма успешно избавлялись от женокравов.

— Ты несправедлив, Грант, — мягко укорила она его. — Ты забываешь, что я сама так решила, сама этого хотела. Никто меня не принуждал. И Рекс меня не похитил. Ты сам меня упустил. Я ушла по своей воле, полетела за ним как на крыльях. Точно так же меня можно обвинить в том, что я похитила его. Мы ушли вместе.

— Что ж, неплохое объяснение, — вынужден был признать Линдей. — Ума и логики тебе не занимать, Мэдж, ну да это для меня не новость. Должно быть, ему с тобой было нелегко.

— Ум любви не помеха...

— Неплохое и не такое уж абсурдное, — перебил он ее.

— Значит, ты согласен с моими доводами?

Он поднял руки вверх.

— Что за наказание — говорить с умной женщиной! Чуть зазевался, и тебя уже подловили. Не удивлюсь, если ты покорила его каким-нибудь силлогизмом.

Ответом ему были тень улыбки в прямом взгляде ее голубых глаз и почти видимое сияние женской гордости, исходившее от всей ее фигуры.

— Нет, Мэдж, беру свои слова обратно. Да будь ты хоть законченной душой, ты и тогда покорила бы его — и кого угодно! — своей красотой: лицом, фигурой, статью. Я знаю, о чем говорю. Меня самого все это когда-то так перевернуло, что я еле в себя пришел — да нет, черт побери, до сих пор не пришел!

Говорил он быстро, нервно, раздраженно, впрочем, как всегда, но при этом, тоже как всегда, совершенно искренне. И, сознавая это, она ухватила за его последнюю фразу.

— Ты помнишь Женевское озеро?¹

— Как я могу забыть! Я был до нелепости счастлив.

Она раз-другой кивнула, не сводя с него лучистых глаз.

— Что было, то было, память о прошлом — упрямая вещь. Пожалуйста, Грант, вспомни... хоть на миг... только на миг... кем мы были друг для друга... тогда.

— Ты используешь запрещенный прием, — с улыбкой сказал он и снова принялся ковырять палец. Вытащив занозу и придиричиво ее изучив, он подвел итог разговору: — Нет, уволь меня. Я отказываюсь играть роль доброго самаритянина.

— Однако ты согласился проделать трудный путь ради совершенно незнакомого человека, — не отступала она.

Он уже не скрывал своего раздражения:

— Ты всерьез думаешь, что я стронулся бы с места, если бы знал, что речь идет о любовнике моей жены?

— Но ты ведь уже здесь... И он тоже здесь... почти бездыханный. Что будешь делать?

— Ничего. С какой стати? Я не напимался служить ему. Он меня обобрал.

Она хотела что-то возразить, но тут в дверь постучали.

— Вон отсюда! — гаркнул он.

— Может, помощь какая нужна...

— Убирайтесь! Принесите ведро воды! Оставьте за дверью!

— Так ты намерен?.. — с дрожью в голосе начала она.

¹ Женевское озеро — озеро в округе Уолуорт штата Висконсин, к юго-западу от Милуоки.

— Умыться.

Его жестокость покорила женщину, и губы ее плотно сжались.

— Предупреждаю, Грант, — сказала она твердо, — я обо всем расскажу его брату, а породу Стрэнгов я хорошо изучила. Если память о прошлом для тебя пустой звук, то и для меня тоже. Не можешь ему — его брат тебя убьет. Да и Том Доу, если на то пошло, стоит мне только попросить.

— Тебе должно быть известно, что мне бесполезно угрожать, — мрачно попрекнул он ее и, презрительно хмыкнув, добавил: — И вообще, не понимаю, какой прок от моей смерти твоему Рексу Стрэнгу.

Она сдавленно охнула и поспешно закусил губу, заметив, что бившая ее нервная дрожь не укрылась от его острого взгляда.

— Это не истерика, Грант! — сказала она, срываясь на крик: ее трясло так, что зубы стучали. — Ты когда-нибудь видел у меня истерику? Я не того склада. Не знаю, что на меня нашло, но я справлюсь. Просто я вне себя. Отчасти это злость... на тебя. Но больше — тревога и страх. Я не хочу потерять его. Я его люблю, Грант. Он мой повелитель, моя любовь... Я провела у его постели столько ужасных дней! Ах, Грант, пожалуйста, прошу тебя!

— Нервы, просто нервы, — сухо заметил он. — Возьми себя в руки. Ты вполне можешь владеть собой. Будь ты мужчиной, я бы предложил тебе закурить.

Она нетвердой походкой двинулась назад к своему табурету, села и принялась наблюдать за доктором, стараясь совладать со своими чувствами. Из-за грубо сложенного очага доносилось пение сверчка. Снаружи забрехали два пса. Грудь больного под меховыми одеялами вздымалась и опадала. Мэдж увидела, как на губах у Линдея заиграла сардоническая улыбка.

— Так ты очень любишь его, очень? — спросил он.

Не удостоив его ответом, она взволнованно задышала, в глазах вспыхнул гордый огонь страсти, не ведавшей стыда. Он коротко кивнул в знак того, что ответ ему ясен.

— Ты позволишь ненадолго занять твое внимание? — Он помедлил, словно раздумывая, с чего лучше начать. — Однажды мне попалась на глаза одна история... Написал ее, кажется, Герберт Шоу¹. Вот послушай. Жила-была женщина, молодая красавица;

¹ По-видимому, имеется в виду американский писатель-юморист *Генри Уилер Шоу* (1818—1885), более известный под псевдонимом Джон Биллингс.

и жил-был молодец-удалец — больше всего на свете он любил красоту и дальние странствия. Уж не знаю, насколько он был похож на твоего Рекса Стрэнга, но, сдаётся мне, что-то общее есть. Так вот, мужчина был типичный художник, богемный человек, бродяга. Поцеловал он ее (не раз, а много-много раз, миловались они несколько недель кряду) — и поминай как звали. Она же прикипела к нему: он был для нее тем, чем был для тебя я, как мне когда-то мнилось... там, на Женевском озере. Прошло десять лет, и она выплакала всю свою красоту. С женщинами такое бывает — они желтеют от горя, словно им в кровь проникает отравка.

А потом случилось так, что наш удалец-молодец ослеп и стал ходить за руку с поводырем, точно малое дитя, и вот через десять лет его привели к ней. Он остался ни с чем, картины он больше писать не мог. Она была на седьмом небе от счастья и втайне радовалась, что он не видит ее лица. Как мы помним, он поклонялся красоте. И теперь он держал ее в своих объятиях и верил, что она прекрасна. Он ведь помнил ее прежней. Он без конца твердил о ее красоте и горевал, что не может ею любоваться.

Однажды он поведал ей о пяти великих картинах, которые мечтал написать. Если бы зрение вдруг вернулось к нему и он смог воплотить свою мечту, он с легким сердцем сказал бы «Finis!»¹ и обрел душевный покой. И вот, не важно каким образом, в руки к ней попадает волшебный эликсир. Нужно всего лишь смочить им глаза — и зрение вернется, полностью и навсегда. — Линдей пожал плечами. — Представь себе ее терзания. Прозрев, он смог бы написать пять заветных картин. Но тогда он покинул бы ее, ведь красота — его религия. Невозможно помыслить, что он смирился бы с ее увядшим лицом. Пять дней она промучилась, не в силах решиться. А после смочила ему глаза эликсиром.

Линдей внезапно умолк и впился в женщину взглядом, в его блестящих черных глазах вспыхнули бесовские искорки.

— Вопрос вот в чем: так ли ты любишь Рекса Стрэнга?

— А если так? — с вызовом ответила она.

— Значит, так?

— Да, так.

— Ты способна на жертву? Способна отказаться от него?

Не сразу и словно бы против воли она сказала «да».

— И ты вернешься ко мне?

— Да, — прошептала она еле слышно. — Когда он поправится... Да.

¹ «Конец!» (лат.)

КОНЕЦ ИСТОРИИ

— Ты ведь понимаешь — все должно быть как тогда, на Женевском озере. Ты снова будешь мне женой.

Она вся сжалась и сникла, но кивнула, соглашаясь.

— Ладно. — Он быстро встал, подошел к своему вещевому мешку и начал его развязывать. — Мне понадобится помощь. Позови сюда его брата. Зови всех! Нужен кипяток... чем больше, тем лучше. Бинты я привез, но этого мало, давай посмотрим, что есть у вас для перевязки... Так, Доу, ты разведи огонь и начинай кипятить воду — сколько сможешь... Теперь ты, — сказал он другому. — Вынеси этот стол наружу и поставь вон там, под окном. Мой, скреби, шарь киятком! Драй его так, как сроду ничего не драил! Вы, миссис Стрэнг, будете мне ассистировать. Простыней у вас нет, полагаю. Ну как-нибудь обойдемся... Вы его брат, сэр? Я дам ему наркоз, но вам придется добавлять по ходу дела. Сейчас я все объясню, слушайте внимательно. Прежде всего... Нет, погодите, для начала — умеете следить за пульсом?

IV

Линдей и раньше пользовался репутацией смелого и удачливого хирурга, но в те дни и недели он самого себя превзошел и в смелости, и в удачливости. Принимая во внимание страшные раны и увечья пациента, а также огромную потерю времени, этот случай по тяжести не имел себе равных в его хирургической практике. Правда, и пациент ему достался исключительный: никогда еще Линдей не сталкивался с более здоровым от природы человеческим организмом. Но и в этом случае Линдей не преуспел бы, если бы больной не был живуч как кошка и не обладал почти сверхъестественной способностью цепляться за жизнь всеми силами тела и духа.

Бывали дни, когда у него подскакивала температура и он метался в горячечном бреду; в другие начинало сдавать сердце и пульс прощупывался еле-еле; или к нему возвращалось сознание, и тогда в запавших глазах стояла смертельная усталость, а на лице от боли выступал пот. Линдей работал без устали, собранно, жестко, смело — и ему везло: раз за разом он шел на крупный риск, но неизменно выходил победителем. Ему мало было вернуть умиравшего к жизни. Он поставил перед собой чертовски трудную и чреватую непредвиденными осложнениями задачу — сделать изувеченного больного здоровым и сильным, как раньше.

— Он останется калекой? — спрашивала Мэдж.

Он сможет не просто ходить и говорить — и являть собой целую карикатуру на себя прежнего, — заверял ее Линдей. Он будет богат и прыгать, перепрыгивать пороги, сидеть верхом на медведях, драться с пантерами — словом, пытаться абсолютно все, что может прийти в его слухную банку. И заранее тебя предупреждаю: он по-прежнему будет пользоваться успехом у женщин. Ты этого хотела? Домохозяйка? Только не забывай, что тебе с ним больше не жить.

Делай, делай свое дело, — сдвинутно отвечала она. Пусть он снова будет здоров. Пусть будет таким, как прежде.

Раз, другой, третий, убедившись, что Стрэнг достаточно окреп, Линдей давал ему наркоз и снова принимался за свои жуткие манипуляции: резал и сшивал, рассоединял и соединял заново какие-то части некоррежированного организма. Потом обнаружилось, что в левой руке нарушена подвижность: Стрэнг мог поднять ее только до определенной высоты, и не дальше. Линдей с головой ушел в решение этой проблемы. Все дело было в нервных волокнах — сдвинутых, перекрученных, порванных. Пришлось снова резать, распутывать, расправлять. Выручали Стрэнга только поразительная живучесть и прожженное здоровье.

Вы его доконаете, — недовольно буркнул однажды брат Стрэнга. Оставьте его в покое. Ради бога, хватит! Уж лучше живой калека, чем полностью отремонтированный мертвец.

Линдей гневно всхлинул.

Убирайтесь! Вы отсюда и не смейте возвращаться, пока не уразумеете, что я тут бьюсь за его жизнь. Вместо того чтобы помочь... Да вы просто обязаны помогать мне всеми силами души! Ваш брат балансирует между жизнью и смертью. Вы что, не понимаете? Его не только словом — мыслью можно отправить на тот свет. А теперь ступайте, оставьте за дверью свое малодушие и возвращайтесь уравновешенным и бодрым, уверенным на сто, на двести процентов, что он будет жить и снова станет таким, как раньше, — до того как вы с ним на пару свалили дурака. Убирайтесь, я сказал!

Брат Стрэнга набычился, сжал кулаки и взглянул на Мэдж, словно спрашивая у нее совета.

— Ступай, ступай, прошу тебя, — взмолилась она. — Доктор прав. Я знаю, что он прав.

В другой раз, когда в состоянии Стрэнга наметилось явное улучшение, его брат восхищенно развел руками.

— Ну док, вы просто волшебник! А я ведь даже не спросил, как вас зовут.

— Не ваше дело. Не отвлекайте меня по пустякам, идите отсюда.

Изувеченная рука никак не хотела заживать, швы разошлись, открылась страшная рана.

— Некроз, — коротко сказал Линдей.

— Теперь ему конец! — простонал брат.

— Молчать! — рявкнул Линдей. — Марш за дверь! Возьмите с собой Доу. Билла тоже. Наловите мне кроликов... живых... здоровых! Расставьте силки. Да побольше!

— Сколько надо кроликов? — спросил брат.

— Четыре десятка... четыре тысячи... сорок тысяч... сколько сумеете добыть. А вы, миссис Стрэнг, будете мне ассистировать. Надо покопаться у него в руке, оценить глубину поражения. Давайте, ребята, шевелитесь. Ваше дело — кролики.

Он занялся раной: быстрыми, точными движениями открыл доступ к загнившей кости и стал соскабливать слой за слоем, чтобы понять, насколько далеко зашел процесс разложения.

— Этого не случилось бы, — объяснил он Мэдж, — если бы все остальное не отбирало у него столько жизненных сил. Даже при его живучести сил на все не хватает. Я видел, что процесс идет, но вынужден был ждать и уповать на удачу. Вот здесь придется удалить кусок кости. Честно говоря, он и без этого кусочка обошелся бы, но, если вставить кроличью косточку, рука будет как новая.

Из сотен доставленных ему живых кроликов большую часть он сразу отверг, а оставшихся одного за другим обследовал, отбраковывал или пускал в дело, брал пробы, снова отбраковывал, и так, пока не сделал окончательный выбор. Употребив последнюю дозу хлороформа, он сделал пересадку, соединил живую кость с живой костью — человеческую с кроличьей, жестко все зафиксировал и наложил повязку, так чтобы физиологические процессы в разнородных живых тканях слились воедино и обеспечили полное восстановление руки.

Пока они денно и нощно выхаживали Стрэнга, особенно когда больной пошел на поправку, между Линдеем и Мэдж время от времени происходили короткие разговоры. Он не слишком церемонился, она не слишком старалась его осадить.

— Я понимаю, это неприятно, — говорил он ей, — но закон есть закон, и тебе придется взять развод, чтобы мы снова могли пожениться. Давай махнем на Женевское озеро, что скажешь?

— Как хочешь, — отвечала она.

— Какого дьявола ты в нем нашла, а? — начинал Линдей в другой раз. — Ну да, он был при деньгах. Но ведь и мы с тобой не бедствовали. Практика приносила мне в среднем около сорока тысяч годового дохода — я не поленился, проверил потом по бумагам. Чего тебе не хватало? Дворцов и пароходов?

— Возможно, ты сам ответил на свой вопрос, — отзывалась она. — Возможно, ты был слишком увлечен своей практикой, и тебе просто было не до меня.

— Ну конечно! — язвительно фыркал он. — Уж если кто и увлекается сверх меры, так это твой Рекс — ему бы только пантер дразнить!

Он без конца донимал Мэдж насмешливым требованием объяснить ее «одержимость» Стрэнгом.

— Этого нельзя объяснить, — отвечала она.

Но в один прекрасный день она все-таки дала ему отповедь:

— Никто не может объяснить любовь, и я не исключение. Просто однажды я поняла: это любовь — божественная, неопровержимая данность, вот и все. Говорят, в форте Ванкувер¹ был такой случай: один из магнатов Компании Гудзонова залива принялся распекать священника местной англиканской церкви за то, что тот в письме домой, в Англию, посетовал: дескать, служащие компании, начиная с самого управляющего, охвачены странным поветрием — брать в жены индейских женщин. «Но есть же смягчающие обстоятельства! — возмутился магнат. — Почему вы этого не объяснили?» На что священник ответил: «Хвост у коровы растет вниз. Я не берусь объяснить, почему хвост растет так, а не иначе. Я просто констатирую факт».

— Черт бы побрал умных женщин! — воскликнул Линдей, и глаза его сердито сверкнули.

— Какими судьбами тебя занесло на Клондайк? — как-то раз спросила она.

— Денег было много, жены нет, тратить не на что. Хотел отдохнуть от работы, перетрутился, наверное. Сперва махнул в Колорадо, но там меня настигли телеграммы и даже кое-кто из клиентов. Я двинулся дальше, в Сиэтл, — не помогло: Рэнсом отправил ко мне свою жену специальным поездом. Тут уж никуда не денешь-

¹ *Форт Ванкувер* — основанный в 1824 г. на северном берегу реки Колумбия в штате Вашингтон торговый пост Компании Гудзонова залива, вокруг которого впоследствии вырос американский город Ванкувер.

ся. Операция прошла успешно. История попала в местные газеты. Остальное нетрудно представить. Мне хотелось от всех спрятаться, и я сбежал на Клондайк. И надо же... Короче говоря, сижу я себе в юконской хижине, дуюсь в вист, и тут является Том Доу!

Настал день, когда Стрэнга на кровати вынесли из дому на солнышко.

— Давай я скажу ему прямо сейчас, — предложила Мэдж.

— Нет, погоди, еще рано, — ответил Линдей.

Спустя какое-то время Стрэнг смог самостоятельно садиться, спускать ноги с койки и уже пробовал делать первые неуверенные шаги, если его поддерживали с двух сторон.

Можно я скажу ему? — снова и снова спрашивала Мэдж.

Нет. Мне нужен идеальный результат. Я должен знать, что в будущем проблем не возникнет. Левая рука еще плохо слушается. Мелочь, в сущности, но я не успокоюсь, пока он вновь не станет таким, каким его создал Бог. Завтра вскрою руку, подправлю. Придется ему еще пару дней полежать. Жаль, весь хлороформ вышел. Ну ничего, зажмет зубами кусочек индейского корня и потерпит. Он справится. Характера ему не занимать.

Так и лето пришло. Снег растаял, только далеко на востоке белели вершины Скалистых гор. Дни становились длиннее, пока совсем не прогнали ночь: солнце скрывалось за горизонтом в полночь точно на севере всего на несколько минут. Линдей не спускал глаз со Стрэнга. Он внимательно изучал его походку и движения, снова и снова раздевал его и в тысячный раз заставлял сжимать и разжимать мышцы. Массаж Стрэнгу делали бесконечно — Том Доу, Билл и брат Стрэнга так в этом поднаторели, что могли бы, по заверению Линдея, запросто устроиться массажистами в турецкие бани или в клинику врача-остеопата. Но Линдею все было мало. Выискивая скрытые изъяны, он прогнал Стрэнга через все мыслимые и немыслимые физические упражнения, после чего снова на неделю уложил его в постель, вскрыл ему ногу, что-то там ювелирно подправил в мелких сосудах и соскоблил пятнышко на кости размером с кофейное зерно и только тогда, удовлетворенный видом здоровой розоватой поверхности, сомкнул над ней живую плоть и окончательно зашил рану.

— Ну теперь уже можно ему сказать? — взмолилась Мэдж.

— Не сейчас, — услышала она в ответ. — Скажешь, когда я буду готов, не раньше.

Промелькнул июль, и уже близился к концу август. Линдей велел Стрэнгу сходить на охоту, добыть лося. Сам он шел позади

и наблюдал за пациентом, стараясь ничего не упустить. Стройный, гибкий, с какой-то кошачьей упругостью мускулов, Стрэнг даже ходил не так, как обыкновенно ходит человек, а словно бы вовсе без усилий; в самом простом движении участвовало все его тело, и при ходьбе ноги поднимались, кажется, за счет сокращения эластичных мышц где-то в области плеч. Но это получалось у него так легко и грациозно, что со стороны невозможно было правильно оценить скорость его шага, а между тем для любого другого она оказывалась непосильной, о чем и говорил когда-то Том Доу. Тяжело дыша и обливаясь потом, Линдей едва поспевал за недавним больным; время от времени, когда тропа шла под уклон, он даже переходил на бег, чтобы не отстать. Одолев десять миль, он объявил перерыв и повалился на мох.

— Хватит! — крикнул он. — Мне не угнаться за вами!

Пока он утирал мокрое, покрасневшее лицо, Стрэнг сел на поваленное дерево, с улыбкой посмотрел на доктора и обвел окружающий пейзаж взглядом пантеиста, который счастлив своей сопричастности всему сущему.

— Нигде не колет, не тянет, не болит? Нигде ничего не беспокоит? — деловито спросил Линдей.

Стрэнг покачал кудрявой головой и блаженно потянулся всем своим гибким телом, каждой клеточкой ощущая радость бытия.

— Вы поправитесь, Стрэнг. В первую-вторую зиму старые раны еще будут ныть, реагируя на холод и сырость. Но это пройдет, а может быть, вам повезет и вы обойдетесь без неприятностей.

— Ей-богу, доктор, вы сотворили чудо! Не знаю, как вас благодарить. Я ведь ничего о вас не знаю, даже вашего имени.

— И не надо. Я вас вытащил, остальное не имеет значения.

— Но я не сомневаюсь, что ваше имя у многих на слуху, — не унимался Стрэнг. — Готов поспорить, что я тоже слышал его.

— Вполне возможно, — ответил Линдей. — Но это лишнее. Напоследок проведем еще одно, последнее испытание, и точка, больше мне с вами делать нечего. Если не ошибаюсь, там, за водоразделом, ближе к истоку ручья, находится приток Биг-Уинди. Доу говорит, прошлым летом вы с ним за три дня прошли вверх по течению до средней развилки и вернулись назад. И будто бы вы его тогда чуть не утомили. Итак, сегодня заночуете здесь, разобьете лагерь. Я пришлю к вам Доу со всем необходимым. Ваша задача — дойти до развилки и вернуться: посмотрим, уложите ли вы в то же время, что и год назад.

V

— Пора, — сказал ей Линдей. — У тебя на сборы ровно час. Я пока схожу приготовлю лодку. Билл на охоте, вернется затемно. Сегодня переберемся в мою хижину, а через неделю будем уже в Доусоне.

Я все же надеялась... — Она не договорила — помешала гордость.

Что я откажусь от платы?

Нет, уговор есть уговор. Но необязательно обставлять это столь отвратительным образом. Ты отослал его на три дня, нарочно не дав мне проститься с ним. Это низко.

— Оставь ему письмо.

-- Я расскажу ему все без утайки!

— Ну разумеется. Утаить от него хоть что-то было бы поистине низко в отношении любого из нас троих, — невозмутимо ответил Линдей.

Когда он вернулся с реки, вещи ее были собраны, письмо написано.

— Я прочту, — сказал он, — если ты не возражаешь.

Чуть замешкавшись, она вручила ему письмо.

— Весьма откровенно, — отозвался он, дочитав до конца. — Ну, ты готова?

Линдей взял ее тюк, и они спустились к лодке. Встав на колени, он одной рукой придержал каноэ, а другую протянул Мэдж. Он не сводил с нее пристального взгляда, но она не дрогнув дала ему руку и приготовилась шагнуть в лодку.

— погоди, — сказал он, — погоди минуту. Помнишь мою историю о волшебном эликсире? Конеч-то я тебе так и не рассказал! А между тем, когда женщина смазала ему глаза и собралась уйти навсегда, ее взгляд случайно упал на зеркало и она увидела, что красота вернулась к ней. А художник, прозрев, восхищенно вскрикнул и прижал к груди свою красавицу.

Мэдж с выражением спокойной обреченности молча ждала, пока он договаривает, но постепенно в ее лице, в глазах затеплился слабый огонек надежды, пока еще смешанной с недоверием.

— Ты очень красива, Мэдж. — Он вздохнул и после короткой паузы сухо добавил: — Остальное само собой разумеется. Полагаю, Рекс Стрэнг не замедлит прижать тебя к своей груди. Прощай.

— Грант... — тихо сказала, вернее, прошептала она, и ее голос говорил больше, чем все слова на свете.

В ответ он с едким смешком пожал плечами.

Мне просто хотелось доказать тебе, что я чего-то стою. Как видишь, следуя завету «Возлюби врага своего»¹.

- Трагг...

Он шагнул в лодку и протянул ей свою тонкую, первую руку. Прощай.

Она сжала ладонями его руку, порывисто склонилась к ней и поцеловала.

Любимая, сильная рука, — еле слышно пробормотала она.

Он отдернул руку, оттолкнулся от берега, опустил весло в быструю воду и направил лодку к порогам, где зеркальная гладь реки вскипала беснующейся белой пеной.

1911

«КАК АРГОНАВТЫ В СТАРИНУ...»

Летом 1897 года семейство Таруотеров не на шутку всполошилось. Дедушка Таруотер², который, казалось, окончательно покорился своей судьбе и сидел смиренхонько почти полных десять лет, вдруг снова будто с цепи сорвался. На сей раз это была клондайкская горячка. Первым и неизменным симптомом таких припадков было у него то, что он начинал петь. И пел он всегда одну песню, хотя помнил из нее только первую строфу, да и то всего три строчки. Стоило ему хриплым басом, превратившимся с годами в надтреснутый фальцет, затянуть:

Как аргонавты в старину,
Снешим мы, бросив дом,
Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум,
За золотым руном, —

и все семейство уже знало, что ноги у него так и зудят, а мозг сверлит всегдашняя бредовая идея.

¹ Ср.: Мф. 5: 44.

² У главного героя рассказа, старика *Таруотера*, был реальный прототип-однофамилец; этого старика Лондон и его спутники встретили в 1897 г. в нескольких километрах севернее Дайи и пропутешествовали в его обществе до реки Стюарт. В свою очередь образ Ливерпула наделен известным сходством с автором рассказа.

Десять лет назад он запел свой гимн, исполнявшийся на мотив «Слава в вышних Богу»¹, когда схватил патагонскую золотую лихорадку². Многочисленное семейство дружно на него насело, но справиться с дедушкой Таруотером было не так просто. Когда все попытки его образумить оказались напрасными, родные решили напустить на старика адвоката, установить над ним опеку и засадить его в сумасшедший дом — мера вполне уместная в отношении человека, который четверть века назад ухитрился спустить в рискованных спекуляциях огромные владения в Калифорнии, сохранив всего какой-то жалкий десяток акров, и с той поры не выказывал никакой деловой сообразительности. Угроза призвать адвокатов подействовала на Джона Таруотера как хороший горчичник, ибо, по его глубокому убеждению, именно стараниями этих господ, умевших драть с человека три шкуры, он и лишился всех своих земельных богатств. Немудрено поэтому, что в пору патагонской горячки одной мысли о столь сильнодействующем средстве оказалось достаточно, чтобы его излечить. Он мгновенно оправился от болезни и согласился ни в какие Патагонии не ехать, чем и доказал, что находится в здравом уме и твердой памяти.

Но вслед за тем старик совершил поистине безумный поступок, передав родным по дарственной свои десять акров земли, воды, дом, сарай и службы. К этому он присовокупил бережно хранимые в банке восемьсот долларов — все, что ему удалось спасти от бывшего богатства. Тут, однако, близкие не нашли нужным заключать его в сумасшедший дом, сообразив, что это лишило бы дарственную законной силы.

— Дедушка, видать, дуется на нас, — сказала старшая дочь Таруотера, Мэри, сама уже бабушка, когда отец бросил курить.

Старик оставил себе только пару старых кляч, таратайку и свою отдельную комнатку в переполненном доме. Больше того, заявив, что не желает быть ничем обязанным детям, он подрядился дважды в неделю возить почту из Кельтервила через гору Таруотер в Старый Альмаден, где в нагорном скотоводческом районе находились ртутные разработки. На своих клячах ему только-только хватало времени обернуться. И десять лет кряду, и в дождь и в вёдро,

¹ «Слава в вышних Богу» (лат. «Gloria in excelsis Deo») — христианский богослужебный гимн, входящий в состав католической мессы латинского обряда и англиканской литургии.

² Речь идет о золотой лихорадке 1883–1906 гг. на островах архипелага Огненная Земля (территория Чили).

он исправно дважды в неделю доставлял почту. Столь же аккуратно каждую субботу вручал он Мэри деньги за стол. Отделавшись от патагонской горячки, он настоял на том, чтобы платить за свое содержание, и пунктуальнейшим образом вносил деньги, хотя для этого ему пришлось отказаться от табака.

Мысли свои на этот счет старик поверял только ветхому колесу старой таруотерской мельницы, которую он собственноручно поставил из росшего здесь мачтового леса. Она молола пшеницу еще для первых поселенцев.

— Э-э! — говорил он. — Пока я сам себя могу прокормить, они не упрячут меня в богадельню. А раз у меня теперь нет ни гроша, никакой мошенник-адвокат не пожалует сюда по мою душу.

И вот поди ж ты, за эти именно весьма разумные поступки Джона Таруотера стали почитать в округе полоумным!

Впервые он запел «Как аргонавты в старину...» весной 1849 года, когда, двадцати двух лет от роду, заболев калифорнийской горячкой, продал двести сорок акров земли в Мичигане, из которых сорок уже были расчищены, на все вырученные деньги купил четыре пары волов и фургон и пустился в путь через прерии.

— В форте Холл¹ мы разделились: часть переселенцев повернула на север к Орегону, а мы двинулись на юг, в Калифорнию, — так он неизменно заканчивал свой рассказ об этом тяжелом переходе. — И в долине Сакраменто², где Кэш-Слау³, мы с Биллом Пингом в кустарниках ловили арканом серых медведей.

Долгие годы он занимался извозом, промывал золото, пока наконец на деньги, вырученные от продажи своей доли в прииске Мерсед, не обосновался в округе Сонома, удовлетворив таким образом присущую вску и унаследованную от отцов и дедов ненасытную тягу к земле.

Все десять лет, что старик развозил почту в Таруотерском районе, вверх по долине реки Таруотер и через Таруотерский хребет — территория, некогда почти целиком входившая в его владения, — он мечтал вернуть эти земли, прежде чем ляжет в могилу. И вот теперь, распрямив согбенное годами большое костлявое тело, с вдохновенным пламенем в крохотных, близко посаженных глазках, старик опять запел во все горло свою старую песню.

¹ *Форт Холл* — форпост и торговый пост в округе Орегон, на юго-востоке штата Айдахо.

² *Сакраменто* — крупнейшая река Калифорнии.

³ *Кэш-Слау* — внутренний залив на реке Сакраменто.

— Ишь, заливается... слышите? — сказал Уильям Таруотер.

— Совсем спятил старик, — посмеялся поденщик Харрис Топпинг, муж Энни Таруотер и отец ее девятерых детей.

Дверь отворилась, и на пороге кухни показался дедушка Таруотер; он ходил задать корм лошадям. Песнь оборвалась, но Мэри была в тот день не в духе, потому что обварила себе руку и потому что внучонка, которого начали прикармливать разбавленным по всем правилам коровьим молоком, слабило.

— Пой не пой, ничего у тебя не выйдет, отец, — накинулась она на старика. — Прошло времечко, когда ты мог очертя голову скакать на какой-нибудь Клондайк, и пением-то ведь сыт не будешь.

— А я вот голову даю на отсечение, что добрался бы до Клондайка и наконал столько золота, что хватило бы выкупить таруотерскую землю, — спокойно возразил он.

— Старый дуралей! — буркнула себе под нос Энни.

— Меньше чем за триста тысяч, да еще с лишком, ее не выкупишь, — попытался образумить отца Уильям.

— Вот я и добыл бы триста, да еще с лишком, только бы мне туда попасть, — невозмутимо возразил дедушка Таруотер.

— Слава богу, что туда не дойти пешком, а то вмиг бы отправился, знаю я тебя! — крикнула Мэри. — Ну а пароходом стоит денег.

— Когда-то у меня были деньги, — смиренно заметил старик.

— А теперь у тебя их нет, так что и толковать не о чем, — сказал Уильям. — Прошло то времечко. Когда-то ты с Биллом Пингом медведей арканом ловил. А теперь и медведи все перевелись.

— Все равно...

Но Мэри не дала ему договорить. Схватив с кухонного стола газету, она яростно потрясла ею перед самым носом своего престарелого родителя.

— А ты читал, что рассказывают тамошние золотоискатели? Вот оно, черным по белому написано. Только молодые да сильные выдерживают. На Клондайке хуже, чем на Северном полюсе. Сколько их там погибло! Взгляни-ка на портреты. А ты лет на сорок старше самого старого из них.

Джон Таруотер взглянул, но сейчас же уставился на другие снимки на той же испещренной кричащими заголовками первой странице.

— А ты взгляни, какие они оттуда самородки привезли, — сказал он. — Уж я-то знаю толк в золоте. Худо-бедно, двадцать тысяч добыл из Мерседы. Кабы ливень не прорвал мою запруду, так и все сто добыл бы. Попасть бы только на Клондайк...

— Как есть рехнулся, — чуть ли не в глаза старику бросил Уильям.

— Это ты про отца родного! — мягко пожурил его старик Таруотер. — Посмел бы я сказать такое твоему деду, он бы мне все кости переломал вальком.

— Да ты и в самом деле рехнулся... — начал было Уильям.

— Может, ты и прав, сынок. А вот дед твой, тот был в здравом уме и не потерпел бы такого.

— Дедушка, видно, начитался в журналах про людей, которые разбогатели, когда им уже за сорок перевалило, — с насмешкой сказала Элли.

— А почему бы и нет, доченька? — возразил старик. — Почему бы человеку и после семидесяти не разбогатеть? Мне-то семьдесят ведь только в нынешний год стукнуло. Может, я бы и разбогател, кабы на этот самый Клондайк попал.

— Так ты туда и не попадешь, — срезала его Мэри.

— Ну что ж, нет так нет, — вздохнул он, — а раз так, можно, пожалуй, и на боковую.

Старик встал из-за стола, высокий, тощий, мосластый и корявый, как старый дуб, — величественная развалина крепкого и могучего когда-то мужчины. Косматые волосы и борода его были не седые, а белоснежные, на огромных узловатых пальцах торчали пучки белой щетины. Он пошел к двери, отворил ее, вздохнул и остановился, оглядываясь на сидящих.

— А все-таки ноги у меня так и зудят, так и зудят, — пробормотал он жалобно.

На следующее утро дедушка Таруотер, засветив фонарь, покормил и запряг лошадей, сам позавтракал при свете лампы и, когда все еще в доме спали, уже трясся вдоль речки Таруотер по дороге в Кельтервил. Два обстоятельства были необычны в этой обычной поездке, которую он проделал тысячу сорок раз с тех пор, как подрядился возить почту. Первое — то, что, выехав на шоссе, старик повернул не к Кельтервилу, а на юг, к Санта-Розе. А второе — что уж и вовсе странно, — у него был зажат между коленями бумажный сверток. В свертке находилась его единственная еще приличная черная пара, которую Мэри давно уже не приказывала ему надевать, не оттого, как догадывался он, что сюртук очень обносился, а потому, что дочь считала одежду еще достаточно приличной, чтобы отца в ней похоронить.

В Санта-Розе, в третьеразрядной лавке подержанного платья, он, не торгуясь, продал пару за два с половиной доллара. Тот же услужливый лавочник дал ему четыре доллара за обручальное кольцо покойной жены. Лошади и шарабан пошли за семьдесят пять долларов; правда, наличными он получил всего двадцать пять. Встретив на улице Алтона Грэнджера, которому он никогда не поминал раньше про взятые им еще в семьдесят четвертом году десять долларов, Таруотер теперь напомнил ему о долге и тотчас получил деньги. Старик перехватил доллар даже у известного всему городу горького пьяницы, который, как это ни удивительно, оказался при деньгах и с радостью ссудил человека, не раз угощавшего его виски в дни своего благоденствия, — после чего с вечерним поездом Таруотер отбыл в Сан-Франциско.

Две недели спустя с тощим вещевым мешком за плечами, где лежали одесяла и кое-какая теплая одежонка, старик высадился на берег Дайи в самый разгар клондайкской лихорадки. На берегу стоял суший содом. Тут было сложено в кучи и разбросано прямо на песке не меньше десяти тысяч тонн всяких припасов и снаряжения, вокруг которых металось два десятка тысяч пререкавшихся и оравших во всю глотку людей. Цена за доставку груза через Чилкутский перевал к озеру Линдерман сразу подскочила: вместо шестнадцати центов за фунт индейцы запрашивали теперь тридцать, что составляло шестьсот долларов за тонну. А полярная зима была уже не за горами. Все это знали, и каждый прекрасно понимал, что из двадцати тысяч приезжих лишь очень немногие переберутся через перевалы, остальным же предстоит зазимовать в ожидании нескорой весенней оттепели.

Вот на этот-то берег и ступил старый Джон, миновал его, мурлыча под нос свою песенку, с ходу направил стопы прямо вверх по тропе к перевалу, как древний аргонавт, не заботясь о снаряжении, потому что снаряжения у него никакого и не было. Ночь он провел на косе в пяти милях вверх по течению Дайи; выше этого места уже нельзя было плыть даже на каноэ. Река, бравшая свое начало от высокогорных ледников, вырывалась здесь из мрачного ущелья и превращалась в бурный поток.

И здесь рано утром он был свидетелем того, как щупленький человек, не более ста фунтов весом, шатаясь под тяжестью привязанного за плечами стофунтового мешка с мукой, опасливо переправлялся по бревну. Видел он и то, как человечек сорвался с бревна, упал вниз лицом в тихую протоку, где не было и двух футов

глубины, и преспокойно стал тонуть. Ему вовсе не хотелось так легко расстаться с белым светом: просто мешок, весивший столько же, сколько и он сам, не давал ему подняться.

— Спасибо, старина, — сказал он Таруотеру, когда тот помог ему встать на ноги и выкарабкаться на берег.

Расшнуровывая башмаки и выливая из них воду, незнакомец разговорился, затем вытащил золотой и протянул его своему спасителю.

Но старик Таруотер, у которого зуб на зуб не попадал после ледяной ванны, покачал головой.

— Вот по-приятельски с тобой перекусить, пожалуй, не откажусь.

— Ты что, еще не завтракал? — с явным любопытством оглядывая Таруотера, спросил человек, который назвался Энсоном и которому на вид было лет сорок.

— Маковой росинки во рту не было, — признался Джон Таруотер.

— А где ж твои припасы, отец? Впереди?

— Нету у меня никаких припасов.

— Думаешь купить продовольствие на месте?

— Не на что покупать, дружище, денег нету ни цента. Да это не важно, мне бы сейчас вот перехватить чего-нибудь горяченького.

В лагере Энсона — примерно в четверти мили дальше — Таруотер увидел долговязого рыжебородого мужчину лет тридцати; он, чертыхаясь, тщетно пытался разжечь костер из сырого тальника. Представленный как Чарльз, молодой человек всю свою злость перенес на старика и сердито посмотрел на него исподлобья, но Таруотер, делая вид, что ничего не заметил, занялся костром: рыжебородый умудрился наложить камней с подветренной стороны. Таруотер откинул их, утренний ветерок усилил тягу, и вскоре вместо валившего от тальника дыма запылал огонь. Тут подоспел и третий их компаньон, Билл Уилсон, или Большой Билл, как прозвали его товарищи, с тюком в сто сорок фунтов весом, и Чарльз подал весьма скверный, по мнению Таруотера, завтрак. Каша сверху не проварилась, а снизу подгорела, бекон обуглился, кофе больше походил на попой.

Наспех проглотив завтрак, трое компаньонов забрали лямки и отправились назад по тропе примерно за милю, к месту последней стоянки, чтобы перетащить остатки своего добра. Но и старик

Таруотер тоже не сидел сложа руки. Он почистил котел, вымыл миски, натаскал валежника, зашил порванную лямку, наточил кухонный нож и лагерный топорик и по-новому увязал кирки и лопаты, чтобы ловчее было нести.

За завтраком старика поразило, что Энсон и Большой Билл почему-то с особым почтением относятся к Чарльзу. И когда Энсон, принеся очередной стофунтовый тюк, сел передохнуть, Таруотер издали завел об этом разговор.

— Видишь ли, — ответил Энсон, — мы поделили между собой обязанности. У нас у каждого своя специальность. Я вот, к примеру, плотник. Когда мы доберемся до озера Линдерман, навалим леса и распилим на доски, постройкой лодки распоряжаться буду я. Большой Билл — шахтер и лесоруб. Так что он будет вести разделкой леса и всем, что касается добычи. Больше половины нашего груза уже на перевале. Мы все деньги спустили индейцам, чтобы подтащить хотя бы эту часть на Чилкут. Наш четвертый компаньон сейчас там и пока один перетаскивает снаряжение вниз. Его зовут Ливерпул. Он — моряк. Так вот, когда построим лодку, всем переходом по озерам и порожистым рекам до самого Клондайка командовать будет он.

— А Чарльз? Этот мистер Крейтон, по какой он части?

— Он у нас за коммерсанта и распорядителя. Когда до этого дойдет, он будет заправлять всеми делами.

— И-да... — задумчиво протянул Таруотер. — Вам повезло. Компания подобралась всех мастей.

— Еще как повезло-то, — простодушно согласился с ним Энсон. — И ведь все, понимаешь, вышло случайно. Отправлялись каждый сам по себе, в одиночку. А на пароходе, когда шли из Сан-Франциско, познакомились и решили ехать артелью... Ну, мне пора, не то Чарльз, чего доброго, начнет меня шпынять, что я не управляюсь со своей долей груза. А как мне, мозгляку, который весит всего-то сто фунтов, сравняться с детиной в сто шестьдесят!

Притащив в лагерь еще один тюк и заметив, как ловко старик все там прибрал и устроил, Чарльз сказал Таруотеру:

— Хочешь, оставайся, приготовишь нам чего-нибудь к обеду.

И Таруотер состряпал обед на славу, перемыл всю посуду, а к ужину подал великолепную свинину с бобами и испек в сковороде такой восхитительный хлеб, что трое компаньонов объелись и чуть не легли костью. Вымыв посуду после ужина, он нащепал лучины, чтобы утром не канителиться с костром и побыстрее

приготовить завтрак, показал Энсону, как нужно обуваться, чтобы не стирались ноги, спел «Аргонавты в старину...» и рассказал им о великом переходе через прерии в сорок девятом году.

— Убей меня бог, это первый порядочный привал с тех пор, как мы высадились, — сказал Большой Билл, выбивая трубку и принимаясь стаскивать башмаки на ночь.

— Так-то вроде лучше будет, ребята, а? — добродушно спросил Таруотер.

Все утвердительно кивнули.

— Тогда, ребятки, у меня к вам есть предложение. Хотите — принимайте его, хотите — нет, а уж выслушать извольте. Вам нужно торопиться попасть на место до ледостава. А один из вас половину времени тратит на стряпню, вместо того чтобы таскать груз. Если я буду на вас стряпать, дело у вас пойдет веселее. И еда будет получше, а с хорошей еды работа спорится. Между делом и я подсоблю спереноской, и побольше, чем вы думаете; не смотрите, что старик, — силенка еще есть.

Большой Билл и Энсон одобрительно было закивали, но Чарльз их опередил.

— А что ты за это хочешь? — осведомился он у старика.

— Это уж как все решат.

— Так дела не делаются, твое предложение, тебе и условия ставить, — отчитал его Чарльз.

— Я вот как думал...

— Небось хочешь, чтобы мы тебя всю зиму кормили? — перебил Чарльз.

— Какое там! Мне бы только добраться до Клондайка на вашей лодке, и на том великое спасибо.

— Да ведь у тебя нет никаких припасов, старик. Ты с голоду там померешь.

— Кормился же я как-то до сих пор, — отвечал Таруотер, и в глазах его зажглись лукавые огоньки. -- Вон уж семьдесят стукнуло, а с голоду не помер.

— А подпишешь бумагу, что по прибытии в Доусон обязуешься сам заботиться о своем пропитании? — деловито осведомился Чарльз.

— Почему не подписать, подпишу, — отвечал старик.

Но Чарльз опять не дал товарищам выразить свое удовлетворение состоявшейся сделкой.

— И вот что еще, старик. Нас ведь четверо компаньонов, такие вопросы мы обязаны решать сообща. Впереди с главным грузом

Ливерпул, он хоть и молодой, но согласие его тоже требуется, раз его сейчас здесь нет.

А что он за человек? — полюбопытствовал Таруотер.

Моряк. Сорвиголова и буйн. Характер у него неважный.

Да, горяченек, — подтвердил Энсон.

А уж сквернослов и богохульник страсть какой! — удостоверил Большой Билл. Однако тут же добавил: — Но справедлив, этого у него не отнимешь.

Энсон одобрительно закивал, присоединяясь к похвале.

Ну что ж, ребята, — сказал Таруотер. — В свое время я отправился в Калифорнию и добрался до нее. Доберусь и до Клондайка. Сказал: доберусь — и доберусь. И свои триста тысяч из земли добуду, это тоже верно. Как сказал, так оно и будет, потому деньги мне позарез нужны. А дурного характера я не боюсь, лишь бы парень был честный да справедливый. Попытаю счастья, пойду с вами, пока его не нагоним. А уж если он откажет, что ж, внакладе останусь я один. Только мне не верится, чтобы он отказал. До ледостава остались считанные дни, да и поздно мне искать другой okazji. А уж раз я до Клондайка непременно доберусь, значит ничем он мне не откажет.

Старый Джон Таруотер вскоре стал одной из самых примечательных фигур на клондайкской тропе, где путникам никак нельзя было отказать в своеобразии и красочности. Тысячи людей, которым приходилось отмерять каждую милю пути раз по двадцать, чтобы на своем горбу доставить до места полтонны груза, уже знали его в лицо и, встретив, дружески называли Дедом Морозом. И всегда старик дребезжащим от старости фальцетом пел за работой свой гимн. Три спутника Таруотера не могли на него пожаловаться. Пусть суставы его плохо гнулись — он не отрицал, что у него небольшой ревматизм, — пусть двигался он медленно, с хрустом и треском, зато был неустанно в движении. Спать он укладывался последним и вставал раньше всех, чтобы еще до завтрака напоить товарищей кружкой горячего кофе, прежде чем они с первым тюком отправятся к новой стоянке. А между завтраком и обедом и обедом и ужином он всегда ухитрялся и сам перетащить тюк-другой груза. Однако не больше чем в шестьдесят фунтов весом. Это был его предел. Он мог взвалить на себя и семьдесят пять фунтов, но тогда очень скоро сдавал. А один раз, попытавшись дотащить тюк в девяносто фунтов, свалился на тропе и потом несколько дней чувствовал противную дрожь и слабость в ногах.

Труд, неустанный труд! На тропе, где даже привычные к тяжелой работе мужчины впервые узнавали, что такое труд, никто соразмерно со своими силами не трудился больше, чем старик Таруотер. Подгоняемые страхом перед близостью зимы, подхлестываемые страстной жаждой золота, люди работали из последних сил и падали у дороги. Одни, когда неудача становилась явной, пускали себе пулю в лоб. Другие сходили с ума. Третьи, не выдержав нечеловеческого напряжения, порывали с компаньонами и ссорились насмерть с друзьями детства, которые были ничем их не хуже, а только так же измучены и озлоблены, как и они.

Труд, неустанный труд! Старик Таруотер мог посрамить их всех, несмотря на треск и хруст в суставах и мучивший его сухой кашель. С раннего утра и до позднего вечера, на тропе и в лагере, он всегда был на виду, всегда что-то делал и всегда по первому зову Дед Мороз с готовностью откликался. Как часто усталые путники, прислонив к сваленному дереву или выступу скалы рядом с его тюком и свои, просили:

— А ну-ка, дед, спой нам песенку о сорок девятом годе.

И когда Таруотер, тяжело дыша, исполнял их просьбу, снова взваливали на себя поклажу, говорили, что ничто так не поднимает дух, и шли дальше.

— Если кто честно заработал свой проезд, — сказал как-то Большой Билл компаньонам, — так это наш старикан.

— Что верно, то верно, — подтвердил Энсон. — Для нас он просто находка, и я лично не прочь бы принять его в нашу артель на полных правах...

— Еще чего! — вмешался Чарльз Крейтон. — Приедем в Доусон — и до свидания, как уговорились. Какой смысл тащить с собой старика, чтобы его там похоронить? А кроме всего прочего, здесь ждут голода и каждый сухарь будет на счету. Не забывайте, что нам придется всю дорогу кормить его из своих запасов. Так что, если в будущем году нам нечего будет кусать, пеняйте на себя. Пароходы доставляют продовольствие в Доусон к середине июня, а до этого еще девять месяцев.

— Что ж, ты вложил в дело не меньше денег и снаряжения, чем мы все, и имеешь такое же право голоса, — признал Большой Билл.

— И я этим правом воспользуюсь, — заявил Чарльз со всевозраставшим раздражением. — Ваше счастье, что хоть кто-то из нас думает, не то с вашей идиотской жалостью вы все с голоду пере-

дохнете. Говорят вам, что будет голод. Здешние порядки мне уже достаточно известны. Мука дойдет до двух долларов за фунт, если не до десяти, да еще ее не достанешь. Вот помяните мое слово.

По осыпям, вверх по мрачному ущелью к Овечьему лагерю, мимо грозно нависших ледников к Весам и от Весов по крутым уступам отшлифованных ледниками скал, где приходилось карабкаться чуть ли не на четвереньках, старый Таруотер носил тюки, стряпал и пел. Через лежащий высоко над границей леса Чилкут он перевалил вместе с первой осенней метелью. Те, кто уже спустился до неприятного берега озера Кратер и мерз там, не имея даже хворостинки на костер, слышали из надвигавшейся сверху тьмы призрачный голос, который пел:

Как аргонавты в старину,
Спешим мы, бросив дом,
Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум,
За золотым руном.

И вслед за тем из снежного вихря выступила длинная, сухопарая фигура, с развевавшимися космами белоснежных, как сама метель, бакенбард, согнувшаяся под тяжестью шестидесятифунтового мешка с лагерными пожитками.

— Дед Мороз! — приветствовали его восторженно. — Ура Деду Морозу!

В двух милях от озера Кратер расположен Счастливый лагерь, прозванный так потому, что здесь проходит верхняя граница леса и путники могут наконец обогреться у костра. Впрочем, растущие здесь карликовые горные ели лишь с большой натяжкой могут быть названы лесом, ибо даже самые могучие их экземпляры поднимают свою крону всего лишь на фут выше мха, а стволы, наподобие портулака, скручиваются и выются подо мхом. Здесь, на тропе, ведущей в Счастливый лагерь, в первый за всю неделю солнечный день старый Таруотер, прислонив мешок к огромному валуну, остановился перевести дух. Тропа огибала валун, и мимо старика в одну сторону медленно шагали люди, нагруженные кладью, а обратно спешили другие, налегке, за новым грузом. Дважды пытался Таруотер взвалить мешок на спину и тронуться в путь, и оба раза дрожь в ногах заставляла его прислоняться к камню и ждать, пока не прибудет сил. За валуном раздались приветственные возгласы. Он услышал голос Чарльза Крейтона и понял, что наконец-то они встретились с Ливерпулом. Чарльз сразу же заговорил о деле, и Та-

руотер от слова до слова слышал, как Чарльз нелестно отозвался о нем и о его, Таруотера, предложении довезти его до Доусона.

— Дурацкое предложение, — заключил Ливерпул, выслушав Чарльза. — Везти к черту на рога дряхлого семидесятилетнего деда! Если он еле ноги таскает, какого дьявола вы с ним связались? А как же голод? Ведь к тому идет. Тогда каждая щепотка муки самим нужна будет. Запасались-то мы на четверых, а не на пятерых.

— Да ты не волнуйся. Все это очень просто уладить, — услышал Таруотер, как Чарльз успокаивал компаньона. — Старый чудак согласился подождать, пока мы тебя не нагоним, и за тобой остается последнее слово. Так что тебе нужно только упереться и сказать «не хочу».

— Выходит, ты предлагаешь мне отказать старику после того, как вы его обнадежили и пользовались его услугами от самой Дайи?

— Путь тяжелый, и надо быть мужчиной, если хочешь дойти, — оправдывался Чарльз.

— А я, значит, из-за вас подлость делай? — проворчал Ливерпул.

У Таруотера упало сердце.

— Ничего не попишешь, — сказал Чарльз. — Тебе решать.

Но тут старый Таруотер опять воспрянул духом, ибо воздух потряс неистовый циклон брани, среди которой можно было разобрать такие фразы:

— Ах, подлецы... Сперва я вас самих к дьяволу упеку... Я принял решение. Линёк вам поперск!.. Старик пойдет с нами по Юкону, заруби себе на носу, голубчик... Мужчина? Я тебе покажу, что значит быть мужчиной!.. Я ни на что не посмотрю, если вы вздумаете отделаться от старика... Только попробуйте, я такое тут светопреставление устрою, что вам небо с овчинку покажется!

И такова была живительная сила этого словоизвержения Ливерпула, что старик, даже не сознавая того, что делает, легко взвалил на плечи свою ношу и бодро зашагал к Счастливному лагерю.

Весь путь от Счастливого лагеря к Долгому озеру, от Долгого озера к Глубокому и от Глубокого вверх, через крутой горный хребет, и вниз к Линдерману продолжалась гонка не на жизнь, а на смерть с наступавшей зимой. Здоровые мужчины, выбившись из сил, падали в изнеможении и плакали у обочины тропы. Но зима, которой не требовалось ни отдыха, ни передышки, неуклонно двигалась. Задули пронизывающие осенние ветры, и под проливными дождями и все более частыми снегопадами партия, к кото-

рой примкнул Таруотер, свалила наконец последние тюки на берегу озера.

Но отдыхать не пришлось. Со склона горы на противоположной стороне озера с ревом сбегал поток; пройдя с милю вверх по течению, они нашли несколько елей и вырыли яму для пилки леса. Здесь вручную, с помощью продольной пилы, они распиливали бревна на доски. Работали круглые сутки. В ночную смену, работая внизу в яме, старый Таруотер раза три терял сознание. А днем он еще и стряпал, и между делом помогал Энсону собирать лодку, по мере того как им подбрасывали сырые доски.

Дни становились все короче. Ветер переменился и дул теперь с севера, нагоняя непогоду. По утрам изнуренные путники с трудом выползали из-под одеял и, сидя в одних носках, согревали затвердевшие от мороза башмаки у костра, который Таруотер, встав раньше всех, для них разводил. Слухи о голоде становились все упорнее. Последние суда с продовольствием из Берингова моря застряли из-за мелководья у первых же отмелей Юкона, больше чем на сотню миль севернее Доусона. Они стояли на приколе возле старой фактории Компании Гудзонова залива, в Форт-Юконе, на самом полярном круге. Мука в Доусоне дошла до двух долларов за фунт, но и за эту цену ее нельзя было достать. Короли Бонанзы и Эльдорадо, не знавшие счета деньгам, уезжали в Штаты, потому что не могли купить продуктов. Комитеты золотоискателей конфисковали продовольствие и посадили все население на жесткий паек. Того, кто утаивал хотя бы горстку бобов, пристреливали как собаку. Десятка два людей уже постигла такая участь.

Между тем нечеловеческое напряжение, сломившее даже более молодых и крепких мужчин, чем Таруотер, начало сказываться на старике. Он все сильнее кашлял и, если бы его измученные товарищи не спали мертвым сном, не дал бы им глаз сомкнуть всю ночь. Его трясло от озноба, и, укладываясь спать, он старался теперь одеться потеплее. Когда бедняга забирался наконец под одеяло, в его вещевом мешке не оставалось даже рваного носка. Всю свою жалкую одежонку, все до последней тряпки, он напяливал на себя или обматывал вокруг своего старого, тощего тела.

— Плохи дела! — заметил Большой Билл. — Если старикан в двадцать градусов выше нуля¹ надевает на себя все тряпки, что же он станет делать потом — при минус пятидесяти или шестидесяти?

¹ 6 °С ниже нуля.

Они спустили грубо сколоченную лодку вниз по горному потоку, десятки раз рискуя ее разбить, и в снежную бурю переправились через южную оконечность озера Линдерман. На следующее утро им предстояло погрузиться и плыть прямо на север, совершить опаснейший переход в пятьсот миль по озерам, бурным потокам и рекам. Вечером, прежде чем лечь спать, Ливерпул куда-то отлучился из лагеря. Вернулся он, когда все уже спали. Разбудив Таруотера, Ливерпул долго вполголоса с ним беседовал.

— Вот что, отец, — сказал он. — Проезд тебе в нашей лодке обеспечен, и если кто заслужил свое место, так это ты. Но сам понимаешь, годы твои уже не те и здоровьишко твое тоже не ахти какое. Если поедешь с нами, того и гляди концы отдашь. Постой, отец, не персбивай, дай досказать. За проезд теперь платят по пятьсот долларов. Я тут походил и нашел одного пассажира. Он служащий Коммерческого банка Аляски и должен во что бы то ни стало попасть в Доусон. Он дает шестьсот долларов, чтобы я его взял в своей посудине. Продай ему свое место, ты его честно заработал, забирай эти шестьсот долларов и сыпь к себе на юг, в Калифорнию, пока еще можно умотать. За два дня доберешься до Дайи, а через неделю будешь в Калифорнии. Что ты на это скажешь?

Таруотер долго кашлял и дрожал, прежде чем мог выговорить слово.

— А вот что я тебе скажу, сыночек, — ответил он. — В сорок девятом я гнал свои четыре упряжки волов через прерии, и хоть бы один у меня издох. Я пригнал их целехонькими в Калифорнию и потом возил на них грузы из Саттерс-форта в Американ-Бар. Теперь я еду на Клондайк. Как сказал, так оно и будет. Я поеду в лодке, которую ты поведешь, прямиком до Клондайка и встрясу там из мха свои триста тысяч долларов. А раз так, то какой же мне смысл продавать мое место? Но большое тебе спасибо, сынок, за заботу, большое спасибо!

Молодой матрос горячо потряс руку старика.

— Ну и молодчина же ты! Ей-ей, отец, поедешь с нами! — воскликнул он и, с откровенным презрением взглянув на храпевшего в рыжую бороду Чарльза Крейтона, добавил: — Такие, как ты, видно, больше не родятся, отец!

Пятерка золотоискателей упорно пробивалась на север, хотя встречавшиеся им старожилы качали головами и предвещали, что они на озерах неминуемо вмерзнут в лед. Ледостава и в самом деле надо было ждать со дня на день, и, дорожа каждой минутой, они

перестали считаться с опасностью. Так, Ливерпул решил проскочить порожистую протоку, соединявшую озеро Линдерман с озером Беннет, не разгружая лодки. Обычно лодки здесь перегоняли порожняком, а груз перетаскивали на себе. Впрочем, немало и пустых лодок разбивалось в щепы. Но теперь прошло время для таких предосторожностей.

— Вылезай, папаша, — приказал Ливерпул, перед тем как оттолкнуться от берега и ринуться вниз по протоке.

Но старый Таруотер покачал белой как лунь головой.

— Ну нет, сынок, я остаюсь с вами, — заявил он. — Тогда наверняка проскочим. Видишь ли, я направляюсь на Клондайк. И если буду сидеть в лодке — значит и она дойдет. А вылезу, так, чего доброго, и лодку потеряем.

— Но и перегружать ее ни к чему, — ввернул Чарльз и в ту минуту, когда она отчаливала, выпрыгнул на берег.

— В другой раз без команды не вылезать! — крикнул ему вдогонку Ливерпул, в то время как лодку подхватило течение. — Еще чего выдумал, пешком обходить пороги, а мы жди его, теряя время!

И правда, то, что по воде отняло всего каких-нибудь десять минут, заняло у Чарльза целых полчаса. Поджидая его у впадения протоки в озеро Беннет, путники разговорились с кучкой оборванных старожилов, спешивших выбраться отсюда подобру-поздорову. Слыхи о голоде не только подтверждались, но становились все тревожнее. Отряд Северо-Западной конной полиции, стоявший у южной оконечности озера Марш, где золотоискатели переходят на канадскую территорию, пропускал только тех, кто имел с собой не меньше семисот фунтов продовольствия. В Доусоне больше тысячи человек с собачьими упряжками ждали лишь ледостава, чтобы выехать по первопутку. Торговые фирмы не могли выполнять договоров на поставку продовольствия, и компаньоны тянули жребий, кому уезжать, а кому оставаться разрабатывать участки.

— Значит, и толковать больше не о чем, — заявил Чарльз, узнав о действиях пограничной полиции. — Можешь, старик, с тем же успехом сейчас же поворачивать оглобли.

— Полезай в лодку! — скомандовал Ливерпул. — Мы идем в Клондайк, и дедушка идет с нами.

Северный ветер сменился попутным южным, и по озеру Беннет они шли курсом фордевинд¹ под огромным парусом, который

¹ *Фордевинд* — здесь: курс парусного судна, совпадающий с направлением ветра. Словом «фордевинд» обозначают также поворот на парусном судне, при котором оно переходит линию ветра кормой.

смастерил Ливерпул. Тюки со снаряжением и продовольствием служили хорошим балластом, и он выжимал из паруса все, что мог, как и подобает отважному моряку, когда дорога каждая минута. У Оленьего Перевала ветер опять как нельзя более кстати отклонился на четыре румба к юго-востоку, погнав их по протоке к озерам Тагиш и Марш. Опасный рукав Уинди-Арм они пересекли на закате, и уже в сумерках, при сильном ветре, тут, на их глазах, опрокинулись и пошли ко дну две другие лодки с золотоискателями.

Чарльз предлагал провести ночь на берегу, но Ливерпул, даже не сбавив хода, повел лодку по Тагину, определяя направление по шуму прибоя на отмелях и горевшим кое-где вдоль берега кострам менее смелых или потерпевших крушение аргонавтов. Часа в четыре утра он разбудил Чарльза. Окоченевший от холода, Таруотер никак не мог уснуть; он заметил, как Ливерпул подозвал к рулю Крейтона, и слышал весь разговор, в котором рыжебородому едва удавалось вставить словечко.

— Вот что, приятель, послушай, что я тебе скажу, а сам придержи язык, — начал Ливерпул. — Я хочу, чтобы ты зарубил себе на носу: *у деда на заставе не должно быть заминки. Понятно? Никакой заминки.* Когда полиция начнет досматривать тюки с продовольствием, пятая часть — деда, ясно? На каждого из нас получится меньше, чем положено, но как-нибудь вывернемся. Так вот запомни хорошенько: все должно сойти гладко.

— Если ты думаешь, что я могу донести на старого чудака... — возмущенно начал Чарльз.

— Я ничего подобного не говорил, а вот ты, видать, об этом думал, — оборвал его Ливерпул. — Но вот что я хочу сказать тебе: о чем ты думал — мне наплевать, важно то, что ты теперь надумаешь. Сегодня во второй половине дня мы будем у заставы. И надо сделать так, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Ну хватит; надеюсь, ты меня понял.

— Если ты думаешь, что у меня на уме... — начал было Чарльз.

— Послушай, — перебил его Ливерпул. — Что у тебя на уме, я не знаю, да и знать не хочу. Я хочу, чтобы ты наконец понял, что у меня на уме. Если дело сорвется, если полиция отправит деда обратно, я выберу какой-нибудь уголок живописней, свезу тебя на берег и там так отлуплю, что ты своих не узнаешь. И не мечтай легко отделаться. Поколочу тебя как полагается, как мужчина мужчину, а у меня, сам знаешь, рука тяжелая. Убить не убью, а до полусмерти исколочу, будь уверен.

— Но что я могу сделать? — заскулил Чарльз.

— Только одно. Молить Бога! Так горячо молить Бога, чтобы полиция пропустила дедушку, что она его пропустит. Больше ничего, — закончил Ливерпул. — А теперь ступай спать.

Они еще не достигли озера Ле-Барж, как земля покрылась пеленой снега, который не сойдет раньше полугода. Труднее стало приставать к берегу, уже обросшему кромкой льда. В устье реки при впадении ее в озеро Ле-Барж укрылось не менее сотни судов аргонавтов, задержанных бурей. Уже который день из конца в конец большого озера дул свирепый норд со снегом. Три утра кряду Ливерпул и его спутники вступали в борьбу с ветром и гонимыми к берегу пенявшимися валами, которые захлестывали лодку, покрывая ее ледяной корой. Четверка золотоискателей надрывалась на веслах, а заковеневший Таруотер потому только и остался жив, что непрерывно скалывал лед и выбрасывал его за борт.

И все три дня, доведенные до отчаяния, они вынуждены были бесславно отступать с поля боя и искать прибежища в устье реки. На четвертый день там уже скопилось более трехсот лодок, и все две тысячи аргонавтов хорошо понимали, что, лишь только утихнет шторм, озеро замерзнет. По ту сторону Ле-Баржа быстрые реки еще долго не остановят свой бег, но, если лодки сейчас же, не теряя времени, не переправятся на ту сторону, им предстоит на целых полгода вмерзнуть в лед.

— Сегодня пробьемся, — объявил Ливерпул. — Ни за что не повернем обратно. Хоть сдохнем за веслами, а грести будем.

И пробились. К наступлению темноты они дошли до середины озера и гребли всю ночь напролет; ветер понемногу стих, а они все продолжали грести, засыпая за веслами; тогда Ливерпул расталкивал их, и они снова налегали на весла, будто в бесконечном кошмаре. Меж тем в вышине одна за другой высыпали звезды, волнение улеглось, и гладкое, словно лист бумаги, озеро постепенно стало затягиваться ледяной корочкой, которая под ударами весел похрустывала, как битое стекло.

А когда забрезжило ясное и холодное утро и они вошли в реку, позади расстилалось сплошное море льда. Ливерпул посмотрел на своего престарелого пассажира: по всему было видно, что старик обессилен и едва жив. Но только моряк повернул лодку к кромке прибрежного льда, чтобы обогреть Таруотера у костра и напоить его чем-нибудь горячим, как Чарльз накинулся на него — нечего, мол, зря тратить время.

— Это тебе не коммерция, — оборвал его Ливерпул, — так что прошу не в свое дело носа не совать. На воде я командир. Вылезай быстрее да топай за валежником, только не вздумай отделаться одной охапкой, чтобы хватило, слышишь! Я займусь дедушкой. Ты, Энсон, разведешь костер. А ты, Билл, пристрой-ка на носу лодки юконскую печурку. Дедушка немного постарше нашего, пусть сидит у печки и греется до самого Доусона.

Так и сделали, и увлекаемая течением лодка, дымя, как заправский речной пароход, своей двурогой печурочной трубой, проскакивала клокотавшие пороги, крутилась в водоворотах, мчалась по быстринам и горным потокам, все глубже забираясь на север. Притоки Большой и Малый Лосось несли в реку сало, а за порогами всплыл сверкавший, как хрусталь, донный лед. С каждым часом росла кромка льда у берега; там, где течение замедлялось, она достигала уже более ста ярдов ширины. А старик, закутанный во все свое тряпье, сидел у печки и поддерживал огонь. Смело устремляясь вперед, они, боясь ледостава, не могли остановиться ни на минуту, а вслед за кормой лодки двигался и все уплотнялся лед.

— Эй, там, на баке! — время от времени окликал моряк Таруотера.

— Есть на баке! — научился отвечать старик.

— Как же мне, сынок, тебя отблагодарить? — говорил иногда Таруотер, помешивая в печурке и глядя на Ливерпула, который сидел на заледеневшей корме у руля и, похлопывая о колено, отогревал то одну, то другую руку.

— А ты грянь-ка свою геройскую, про сорок девятый год, — был неизменный ответ.

И Таруотер срывавшимся по-истининскому голосом запевал свою песнь, как запел ее, достигнув цели, когда лодка сквозь теснившиеся льдины повернула к доусонскому причалу и весь прибрежный Доусон наострил уши, внимая его победному песню:

Как аргонавты в старину,
Спешим мы, бросив дом,
Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум,
За золотым руном.

Чарльз все-таки донес, но он сделал это так хитро и осторожно, что никто из его спутников — и прежде всего матрос — не мог что-либо заподозрить. Еще когда они причаливали, он увидел две большие открытые баржи, на которые сгоняли народ; расспросив у людей, он узнал, что это комитет спасения вылавливает и отправляет

вниз по Юкону золотоискателей, не имеющих продовольствия. Тут лелеяли, правда, слабую надежду, что последний пароходик из Доусона все же успеет до ледостава отбуксировать баржи к Форт-Юкону, где стояли вмерзшие в лед суда с продовольствием. Как бы то ни было, Доусон по крайней мере избавится от лишних ртов. Чарльз тайком сбегал в комитет спасения и предупредил, что сюда прибыл немоцный старик без денег и без продовольствия. Таруотера забрали самым последним, и, когда Ливернул вернулся к лодке, он с берега увидел, как окруженные шугой баржи исчезают за поворотом реки у Лосинной горы.

Продвигаясь все время среди льдов и благополучно миновав несколько заторов на юконских отмелях, баржи проследовали еще на сто с лишним миль далее к северу и вмерзли в лед бок о бок с продовольственным транспортом. Здесь, на полярном круге, Таруотер обосновался на всю долгую арктическую зиму. Кормился он тем, что рубил дрова для пароходной компании. Это занимало у него несколько часов в день, остальное время делать было нечего, и он отлеживался в бревенчатой хижине.

Тепло, покой и сытная пища излечили сухой кашель и, насколько это возможно в такие преклонные годы, восстановили его силы. Однако еще до Рождества, из-за отсутствия свежих овощей, в лагере объявилась цинга, и приунывшие искатели счастья один за другим укладывались в постель и лежали, не вставая, сутками, малодушно пасуя перед этой последней неудачей. Иное дело Таруотер. Не дожидаясь первых признаков цинги, он стал применять лучшее, по его мнению, средство против этой болезни — моцион. На старой фактории в куче хлама он отыскал несколько заржавленных капканов, а у одного из шкиперов попросил на время ружье.

Снарядившись таким образом, он бросил рубить дрова и стал промышлять не ради одного пропитания. Не пал он духом и тогда, когда сам захворал цингой. По-прежнему обходил он свои капканы и пел свою старинную песнь. И ни один пессимист не мог поколебать его твердую уверенность в том, что он вытрясет из мхов Аляски свои триста тысяч долларов.

— Но ведь в здешних местах и золота-то нет, — говорили ему.

— Золото там, где его находят, сынок. Мне ли не знать, ведь я его копал, когда тебя еще на свете не было, в сорок девятом году, вон когда! — не смущаясь, отвечал Таруотер. — Чем была Бонанза? Долинкой, где лоси паслись. Ни один порядочный золотоискатель туда не заглядывал. А вот намывали же там в лотке по пять-

сот долларов и добыли чистых пятьдесят миллионов! А Эльдорадо? Почем знать, может, под этой самой хижинкой или вон за той горой лежат миллионы и только того и ждут, чтобы какой-нибудь счастливчик вроде меня выкопал их из земли.

Однако в конце января с Таруотером приключилась беда. Какой-то крупный зверь, должно быть рысь, попал в один из капканов поменьше и уволок его. Старик погнался было за ним, но повалил сильный снег, и он потерял след зверя, а когда повернул обратно, не нашел и своего следа. В это время года короткий северный день сменяется двадцатичасовым мраком; снег все валил, и в серых сумерках угасающего дня отчаянные попытки Таруотера отыскать дорогу в форт привели только к тому, что он окончательно запутался. Но счастью, когда в этих краях выпадает снег, всегда становится теплее, и вместо обычных сорока, пятидесяти и даже шестидесяти градусов ниже нуля температура была минус пятнадцать. К тому же Таруотер был тепло одет, и в кармане у него лежала полная коробка спичек. Облегчило его положение и то, что на пятый день ему удалось добить подстреленного кем-то лося, который весил больше полутонны. Устроив возле туши подстилку и загородку из хвои, старик приготовился здесь зазимовать, если его не разыщет спасательная партия и не доконает цинга.

Так прошло две недели, но никто его не разыскивал, а цинга явно усилилась. Свернувшись в комок у костра и укрывшись от ветра и холода за своей загородкой из еловых ветвей, Таруотер долгие часы спал и долгие часы бодрствовал. Но по мере того как им овладевало оцепенение зимней спячки, часы бодрствования все сокращались, становясь не то полудремотой, не то полужабытием. Искра разума и сознания, носившая имя Джона Таруотера, постепенно угасала, погружаясь в недра первобытного существа, сложившегося задолго до того, как человек стал человеком, и в самом процессе развития человека, когда он, первый из зверей, начал приглядываться к себе и создал начальные понятия добра и зла в страшных, словно кошмар, творениях фантазии, где в образах чудовищ выступали его собственные желания, подавленные запретами морали.

Как горячечный больной временами приходит в себя, так Таруотер просыпался, жарил себе мясо и подкладывал сучья в костер, но все чаще и чаще его одолевала апатия, и в безмятежном забытьи он уже не различал, когда грезит наяву и когда — во сне. И тут, в заветных катакомбах неписаной истории человечества, он встретил непостижимых и невероятных, как кошмар или бред сумасшед-

шего, чудовищ, созданных первыми проблесками человеческого сознания, — чудовищ, которые и поныне побуждают людей слагать сказки, чтобы уйти от них или бороться с ними.

Короче говоря, под бременем своих семидесяти лет, один среди пустынного безмолвия Севера, Таруотер, словно курильщик опиума или одурманенный снотворным больной, вернулся к младенческому мышлению первобытного человека. Над съежившимся в комок у костра Таруотером черной тенью реяла смерть, а он, как его отдаленный предок, человек-дитя, слагал мифы и молился солнцу, сам и мифотворец, и герой, пустившийся на поиски сказочного и труднодостижимого сокровища.

Либо он добудет сокровище, гласила неумолимая логика этого призрачного царства, либо погрузится в ненасытное море, во всепожирающий мрак, что каждый вечер проглатывает солнце — солнце, которое наутро встает на востоке и сделалось для человека первым символом бессмертия. Но страна заходящего солнца, где он пребывал в своем забытии, была не чем иным, как надвигавшимися сумерками близкой смерти.

Как же спастись от чудовища, которое медленно пожирало его изнутри? Он чересчур ослаб, чтобы мечтать о спасении или даже чувствовать побуждение спастись. Действительность для него перестала существовать. И не из глубин его затемненного сознания могла она возродиться вновь. Сказывались бремя лет, болезнь, латаргия и оцепенение, навешанное окружающим безмолвием и холодом. Только извне могла действительность встряхнуть его, пробудить в нем сознание окружающего, не то из призрачного царства теней он неприметно скользнет в полный мрак небытия.

И вот действительность обрушилась на него, ударила по его барабанным перепонкам внезапным громким фырканием. Двадцать дней подряд стояли пятидесятиградусные морозы, и все эти двадцать дней ни единое дуновение ветерка, ни единый звук не нарушали мертвой тишины. И как курильщик опиума не сразу может оторвать взгляд от просторных хором своих сновидений и с недоумением оглядывает тесные стены жалкой лачуги, так и старый Таруотер уставил мутные глаза на замершего по ту сторону костра огромного лося с перебитой ногой, который, тяжело дыша, в свою очередь уставился на него. Животное, как видно, тоже слепо бродило в призрачном царстве теней и пробудилось к действительности, только наткнувшись на догоравший костер.

Таруотер с трудом стянул с правой руки неуклюжую меховую рукавицу на двойной шерстяной подкладке, но тут же убедился, что

указательный палец совсем онемел и не может нажать на крючок. Казалось, прошла вечность, пока он, опасаясь спугнуть зверя, медленно засовывал беспильную руку под одеяло, затем под свою меховую парку и, наконец, за пазуху, под чуть теплую подмышку. Целая вечность прошла, пока к пальцу вернулась подвижность и Таруотер мог с той же осторожной медлительностью приложить ружье к плечу и нацелиться в стоявшего перед ним лося.

Когда грянул выстрел, один из скитальцев в царстве сумерек рухнул наземь и погрузился во мрак, а другой воспрянул к свету и, шатаясь, как пьяный, на ослабевших от цинги ногах, дрожа от волнения и холода, стал трясущимися руками протирать глаза и озираясь на окружающий его реальный мир, который предстал перед ним с головокружительной внезапностью. Таруотер встряхнулся и только тут понял, что долго, очень долго грезил в объятиях смерти. Первое, что он сделал, — это плюнул; слюна еще на лету затрещала: значит, много больше шестидесяти градусов. В тот день спиртовой термометр Форт-Юкона показывал семьдесят два градуса ниже нуля, иначе говоря — сто семь градусов мороза, ибо по Фаренгейту точка замерзания — тридцать два градуса выше нуля.

Медленно, словно ворочая тяжести, мозг Таруотера подсказывал ему, что нужно действовать. Здесь, среди пустынного безмолвия, обитает смерть. Сюда пришли два раненых лося. С наступлением сильных морозов небо прояснилось, и Таруотер определил свое местонахождение: лоси могли прийти только с востока. Значит, на востоке люди — белые или индейцы, неизвестно, но, во всяком случае, люди, которые окажут ему поддержку, помогут пристать к берегу жизни, избежать пучины мрака.

Таруотер взял ружье, патроны, спички, уложил в мешок двадцать фунтов мяса убитого лося — движения его по-прежнему были медленны, но зато он двигался в реальном мире. Засим воскресший аргонавт, прихрамывая на обе ноги, повернулся спиной к губельному западу и заковылял в сторону животворного востока, где каждое утро вновь восходит солнце...

Много дней спустя — сколько их прошло, он так никогда и не узнал, — грезя наяву, галлюцинируя и бормоча свою неизменную песнь о сорок девятом годе, словно человек, который тонет и из последних сил барахтается, чтобы его не затянула темная глубина, Таруотер вышел на снежный склон и увидел в ущелье, внизу, вившийся дымок и людей, которые, бросив работать, глядели на него. Не переставая петь, он, спотыкаясь, устремился к ним, а ко-

гда у него пресеклось дыхание и он умолк, они закричали на все лады: «Смотрите, Николай Чудотворец!.. Борода!.. Последний из могикан!.. Дед Мороз!» Они обступили старика, а он стоял неподвижно, не в силах вымолвить слова, и только крупные слезы катились у него по щекам. Он долго беззвучно плакал, потом, будто опомнившись, сел в сугроб, так что его старые кости хрустнули, и из этого удобного положения повалился на бок, облегченно вздохнул и лишился чувств.

Не прошло и недели, как Таруотер уже снова был на ногах и, ковыляя по хижине, стряпал, мыл посуду и хозяйничал у пятерых обитателей уцелья. Настоящие старожилы-пионеры, люди мужественные и привыкшие к лишениям, они так далеко забрались за полярный круг, что ничего не слыхали о золоте, найденном на Клондайке. Таруотер первый принес им эту весть. Питались они мясом лосей, олениной, копченой рыбой, дополняя этот почти исключительно мясной стол ягодами и сочными кореньями каких-то диких растений, которые заготавливали еще с лета. Они забыли вкус кофе, зажигали огонь с помощью увеличительного стекла, в дорогу брали с собой трут и палочки, как индейцы, курили в трубках засушенные листья, от которых першило в горле и шел невыносимый смрад.

Три года назад они вели разведку к северу от верховьев Коюкука и до самого устья Маккензи на побережье Северного Ледовитого океана. Здесь, на китобойных судах, они в последний раз видели белых людей и в последний раз пополнили свои запасы товарами белого человека, главным образом солью и курительным табаком. Направившись на юго-запад в длительный переход к слиянию Юкона и Поркьюпайна у Форт-Юкона, они наткнулись в русле пересохшего ручья на золото и остались тут его добывать.

Появление Таруотера обрадовало золотоискателей, они без устали слушали его рассказы о сорок девятом годе и окрестили его Старым Героем. Отваром из ивовой коры, кислыми и горькими корешками и клубнями, хвойным настоем они излечили старика от цинги, так что он перестал хромать и даже заметно поправился. Не видели они причин и к тому, чтобы лишить старика его доли в богатой добыче.

— Насчет трехсот тысяч поручиться не можем, — сказали они ему как-то утром за завтраком, перед тем как идти на работу. — Ну а как насчет ста тысяч, Старый Герой? Заявка тут примерно того стоит, россыпь, что ни говори, богатая, а участок тебе уже застолбили.

— Спасибо, ребята, большое вам спасибо, — отвечал старик, — могу сказать одно: сто тысяч для начала неплохо, даже совсем неплохо. Конечно, я на этом не останавлиюсь и свои триста тысяч добуду. Ведь я затем сюда и ехал.

Ребята посмеялись, похвалили его упорство, говоря, что, видно, им придется сыскать старику местечко побогаче. А Старый Герой ответил, что, как наступит весна и он станет бодрей, видно, ему самому придется тут полазить и пошарить.

— Почем знать, может, вон под той горкой, — сказал он, указывая на заснеженный склон холма по другую сторону ущелья, — мох растет прямо на самородках.

Больше он ничего не сказал, но, по мере того как солнце поднималось все выше и дни становились длиннее и теплее, все чаще поглядывал через ручей на характерный сброс посредине склона. И однажды, когда снег почти всюду стоял, Таруотер перебрался через ручей и поднялся к сбросу. Там, где солнце припекало сильнее, земля уже оттаяла на целый дюйм. И вот в одном таком месте Таруотер стал на колени, большой заскорузлой рукой ухватил пучок мха и вырвал его с корнями. Что-то блеснуло и загорелось в ярких лучах весеннего солнца. Он тряхнул мох, и с корней, будто гравий, на землю посыпались крупные самородки — золотое руно, которое оставалось теперь только стричь!

У аляскинских старожилов еще свежа в памяти золотая лихорадка лета 1898 года, когда из Форт-Юкона на новооткрытые прииски Таруотера хлынули толпы народу. И когда старый Таруотер, продав свои акции компании Боуди за чистые полмиллиона, отправился в Калифорнию, он до самой паровой пристани Форт-Юкона ехал на муле по великолепной новой тропе с удобными трактирами для проезжих.

На борту океанского парохода, вышедшего из Сент-Майкла, Таруотер за первым же завтраком обратил внимание на скрюченного цингой седоватого официанта с испытанным лицом, который, морщась от боли, подавал ему на стол. Но, только еще раз пристально оглядев его с головы до ног, он удостоверился, что это и в самом деле Чарльз Крейтон.

— Что, плохо пришлось, сынок? — посочувствовал Таруотер.

— Уж такое мое счастье, — пожаловался тот, когда узнал Таруотера и они поздоровались. — Из всей нашей компании ко мне одному прицепилась цинга. Чего только я не натерпелся! А те трое живы-здоровы и работают, собираются зимой отправиться на разведку вверх по Белой. Энсон плотничает, зарабатывает двадцать

пять долларов в день. Ливерпул валит лес и получает двадцать. Большой Билл, тот работает старшим пильщиком на лесопилке, выгоняет больше сорока в день. Я старался как мог, да вот цинга...

— Старался-то ты старался, сынок, только можешь ты мало, уж очень коммерция тебе характер испортила, больно ты мужчина черствый да раздражительный. Так вот что я тебе скажу. Хворый — ты не работник. За то, что вы взяли меня с собой в лодку, я уж заплачу капитану за твой проезд, отлеживайся и отдыхай, пока едем. А что думаешь делать, когда высадишься в Сан-Франциско?

Чарльз Крейтон пожал плечами.

Так вот что, — продолжал Таруотер, — пока не наладишь свою коммерцию, для тебя найдется работенка у меня на ферме.

Возьмите меня к себе управляющим... — сразу оживился Чарльз.

— Ну нет, голубчик, — наотрез отказал Таруотер. — Но другая работа всегда найдется: ямы рыть для столбов, колоть дрова, а климат у нас превосходный...

К возвращению блудного дедушки домашние не преминули заколоть и зажарить откормленного тельца¹. Но прежде чем сесть за стол, Таруотер пожелал пройтись и оглядеться. Тут, разумеется, все единокровные и богоданные дочери и сыновья непременно пожелали его сопровождать и подобострастно поддакивали каждому слову дедушки, у которого было полмиллиона. Он шествовал впереди, нарочно говорил самые нелепые и несообразные вещи, однако ничто не вызывало возражений у его свиты. Остановившись у разрушенной мельницы, которую он когда-то построил из мачтового леса, он с сияющим лицом глядел на простиравшуюся перед ним долину Таруотер и на дальние холмы, за которыми возвышалась гора Таруотер, — все это он мог теперь снова назвать своим.

Тут его осенила мысль, и, чтобы скрыть веселые огоньки в глазах, он поспешил отвернуться, делая вид, что сморкается. По-прежнему сопровождаемый всем семейством, дедушка Таруотер пошел к ветхому сараю. Здесь он поднял с земли почерневший от времени валец.

— Уильям, — сказал он, — помнишь наш разговор перед тем, как я отправился на Клондайк? Не может быть, чтобы не помнил.

¹ Шутливая аллюзия на хрестоматийно известную евангельскую притчу о блудном сыне; ср.: «А отец сказал рабам своим: ⟨...⟩ приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15: 22–24).

Ты мне тогда сказал, что я рехнулся. А я тебе ответил, что, если бы я посмел так разговаривать с твоим дедушкой, он бы мне все кости переломал вальком.

— Я только пошутил, — старался вывернуться Уильям.

Уильям был сороканятилетний мужчина с заметной проседью. Его жена и взрослые сыновья стояли тут же и с недоумением смотрели на дедушку Таруотера, который зачем-то снял пиджак и дал его Мэри поддержать.

-- Подойди ко мне, Уильям, — приказал он.

Уильям скрепя сердце подошел.

— Надо и тебе, сынок, хоть раз попробовать, чем меня частенько потчевал твой дед, — приговаривал Таруотер, прохаживаясь вальком по спине и плечам сына. — Заметь, я тебя хоть по голове не бью! А вот у моего почтенного родителя нрав был горячий, бил по чему попало... Да не дергай ты локтями! А то по локтю огрею. А теперь скажи, любезный сыночек, в своем я уме или нет?

— В своем! — заорал Уильям благим матом, приплясывая на месте от боли. — В своем, отец. Конечно в своем!

— Ну то-то же! — наставительно заметил старик и, отбросив валеk, стал натягивать куртку. — А теперь пора и за стол.

1916, опубл. 1917

ЧУДО СЕВЕРА

Из этой доподлинной истории видно, что у каждого из нас в сердце заведомо кроется добро. Бертрам Корнелл был человеком дрянным и никчемным. По ту сторону океана, под его родным кровом, о нем горько печалились и лили слезы, молясь о его благополучии и душевном здравии, только попусту. Скверная натура Бертрама исправлению не поддавалась. Это было яснее ясного. Безрассудство, легкомыслие, черствость — вот самые мягкие оценки его натуры.

Даже в детские годы на уме у Бертрама были одни пакости. Увещевали его, умоляли — да все без толку: слезы матери и сестер нимало его не трогали, а выговоры отца, хотя и не столь мягкосердечные, негодник пропускал мимо ушей. И незачем удивляться тому, что еще совсем молокососом Бертрам поспешил сбежать из Англии, прихватив с собой кое-какую поклажу, которая наверняка обременила бы его совесть, будь он таковой наделен, а родичам

пришлось расхлебывать навлеченный на семью позор. Память о себе Бертрам оставил недобрую: говорили о нем, пока помнили, с досадой и горечью. О дальнейших его художествах никто ничего не слышал, не знали также, что с ним случилось. Однако перед смертью он искупил все прегрешения и начисто смыл пятна со страниц своей жизненной книги. Правда, случилось это в далеких краях, откуда вести доходят нескоро, а то, бывает, и не доходят: люди умирают, не успев сообщить о том, как умерли другие.

С Бертрамом Корнеллом дело было так. Обладая железным здоровьем и беззаботным нравом, он пренебрегал неумолимыми законами мироздания и не подчинялся их строгим требованиям, а всегда поступал по собственной прихоти. На ругань отвечал еще более забористой бранью, кулачные удары отражал ударами еще более свирепыми. Бертрам плавал матросом по многим морям, стерег овец на австралийских пастбищах, подрядился ковбоем в Дакоте, служил рядовым в Конной полиции Северо-Западной территории. Оттуда он дезертировал на поиски золота на Клондайке и добрался до побережья Аляски. Там, благодаря своему опыту, полученному на фронтире, Бертрам довольно скоро сошелся с тремя другими искателями.

Все четверо отправились на Клондайк, однако задумали в обход проторенных троп проложить новый, еще неизведанный маршрут. Выючный обоз (из индейских лошадок с горных склонов Восточного Орегона) двинулся по безлюдной местности, простирающейся за горой Святого Ильи¹, а затем на север — через возвышенность, где берут начало реки Танана и Белая. Эти неисследованные края, куда еще не ступала нога белого человека, представляли собой на картах белое пятно. Живность и та на необъятных угрюмых просторах попадалась редко, индейские племена были немногочисленны и разрозненны. Порой целыми днями искатели ехали сквозь безмолвные леса или по берегам уединенных озер, не встречая ни единого живого существа и слыша только вздохи ветра и всхлипы набегавших волн. Над всем этим раздольем царил нерушимый покой, и тишина была настолько глубокой, что путники приучились понижать голос и слова старались зря не тратить.

Продвигаясь вперед в надежде напасть на золотую жилу, они подолгу обследовали стоячие холодные омуты и промывали ил в тени могучих глетчеров. Однажды наткнулись на нетронутые залежи меди — чуть ли не с гору, но только махнули рукой и трону-

¹ *Гора Святого Ильи* — гора на границе Аляски и территории Юкон, высотой 5489 м.

лись дальше. Корма для лошадей не доставало, терпеливые животные зачастую им травились и гибли один за другим на неведомом пути, по которому их гнали хозяева. На крутом перевале компаньонов застигла буря с мокрым снегом, нередкая на такой высоте, и прежде чем они выбрались в долину, где стужа была менее лютой, пала последняя лошадь.

И вот там, в тенистой лощине, Джон Торнтон¹, расчистив мох, стряхнул с корней травы блестящие крупницы желтого металла. Бертрам Корнелл был в тот раз сго напарником, и к вечеру они принесли в лагерь самородки, потянувшие в целом на добрую тысячу долларов. Разбили стоянку, и до конца месяца четверо завладели сокровищем, унести которое им оказалось не под силу. Однако запасы съестного неуклонно убывали, так что вскоре весь остаток без особого труда выдерживала одна спина.

Местность была угрюмой, близилась осень, и надо было двигаться дальше. Где-то на северо-востоке располагались Клондайк и территория Юкон. Насколько далеко — добытчики точно не знали, но думали, что не более чем в сотне миль. Итак, каждый взял с собой фунтов пять золота (то есть тысячу долларов), а прочее богатство спрятали на время в тайник. Вернуться собирались сразу же, как только разживутся провизией. Патроны кончились, поэтому винтовки сложили вместе с золотом, а в дорогу взяли только снаряжение для ночевки и скромный запас пропитания.

Нимало не сомневаясь, что вскоре достигнут приисков, путники не ограничивали себя в довольствии, а потому на десятый день в запасе остались жалкие несколько фунтов. Меж тем перед ними, подобно вздыбленным земным волнам, высились нескончаемые грозные кряжи. Уверенность вытеснилась тревогой, и Билл Хайнс начал урезать рацион.

Днем теперь не ели ничего, а утром и вечером Хайнс делил дневную норму на четыре крохотные порции. Всем доставалось поровну, но этого едва хватало лишь на поддержание жизни, и силы у взрослых здоровяков таяли на глазах. Лица у них осунулись, щеки ввалились, и одолевать дорогу становилось все труднее. То и дело к пустому желудку подступала тошнота, колени подгибались от слабости, путники спотыкались и падали на землю. Однако всякий раз, стоило им, задыхаясь, взобраться на вершину зубчатой скалы и жадно вглядеться в даль, как обзор преграждала новая гора. И над всем этим простором царил нерушимый покой: конца заброшенности и одиночеству не предвиделось.

¹ Джон Торнтон — персонаж романа «Зов предков» (1903).

Мало-помалу путники расстались с одеялами и со сменной одеждой. Побросали топоры и ненужную посуду, не пожалели даже мешочки с золотым песком, и нога за ногу брели теперь налегке, полураздетыми, сберегая только ничтожный остаток провианта. Датчанин Ян Йенсен разделил его по весу на четыре части, с тем чтобы каждый нес в котомке одинаковый груз. И все четверо, верные неписаным и молчаливым законам товарищества, сохраняли его в неприкосновенности. Котомки открывались лишь при свете вечернего костра, когда каждый мог убедиться в справедливости дележки.

Уцелел один-единственный трехфунтовый ломоть бекона, который, в придачу к нескольким чашкам муки, нес Джон Торнтон. Этот ломоть берегли до последнего, на самый крайний случай, и наотрез отказывались к нему прикасаться. Однако Бертрам Корнелл, терзаясь голодом, украдкой кидал на него жадные взгляды. И вот ночью, пока его изнуренные сотоварищи спали тяжелым сном, он развязал котомку Джона Торнтона, похитил бекон — и вплоть до рассвета, оберегая отвыкший от еды желудок, неторопливо и размеренно жевал, разжевывал и глотал кусок за куском, пока не закончил все до последнего.

На следующий день Бертрам всячески старался скрыть, что сил у него за ночь прибавилось, и напротив — прикидывался совсем немощным. Дневной переход дался нелегко; Джон Торнтон отставал и делал частые привалы, но к вечеру путники преодолели очередную возвышенность и увидели в расстилавшейся внизу долине исток речушки, которая текла на восток. На восток! Туда, где их ждал спасительный Клондайк! Еще несколько дней — и, если только удастся продержаться, они вновь окажутся среди белых людей, где вдоволь всякой еды.

Вечером оголодавшие путники сгрудились у костра и жадно следили за тем, как Билл Хайнс развязывает котомку Торнтона, чтобы достать немного муки. Отсутствие бекона сразу бросилось всем в глаза. Во взгляде Торнтона выразился ужас, а Хайнс, выронив котомку, громко зарыдал. Ян Йенсен, однако, вытащил свой охотничий нож и произнес — тихо и хрипло, чуть ли не шепотом, хотя слова слетали с его губ медленно и отчетливо:

— Дружочки мои, это убийство. Этот человек спал рядом с нами и честно получал свою долю. Когда мы разделили запас провизии по весу, каждый нес у себя на спине жизни сотоварищей. Наши жизни нес у себя на спине и этот человек. Ему был вверен долг — долг великий и священный. И он его нарушил. Сегодня он плелся далеко позади, и мы вообразили, будто он совсем ослаб. Мы

обманулись. Вот, смотрите! Он присвоил то, что принадлежало нам и что помогло бы нам выжить. Иначе, чем убийством, назвать это нельзя. А убийство положено карать — и карать единственным способом. Прав я, друзья, или нет?

— Прав! — выкрикнул Билл Хайнс, но Бертрам Корнелл словно онемел. Такого оборота он не ожидал.

Ян Йенсен занес для удара свой нож с длинным лезвием, однако Корнелл схватил его за запястье с возгласом:

— Дай мне сказать!

Торнтон с трудом поднялся на ноги и произнес:

— Если мне придется умереть — это несправедливо. Я не прикасался к бекону и не терял его. Что произошло, не понимаю. Торжественно клянусь Всевышним Господом: бекон я не трогал — и даже языком его не лизнул!

— Коль скоро тебе хватило подлости его заглотить — значит хватает сейчас подлости и врать нам в глаза, — с вызовом бросил Йенсен, стискивая в руке нож.

— Отстань от него, слышишь? — угрожающе прошипел Корнелл. — Мы не знаем, кто съел бекон. Мы об этом ничего не знаем. Учти, я не отступлюсь — и убийства не допущу. Есть шанс, что Торнтон тут ни при чем. И забывать про этот шанс нельзя. Ты не посмеешь расправиться с невиновным.

Обозленный датчанин спрятал нож, однако спустя час, когда Торнтон о чем-то его спросил, он повернулся к нему спиной. Билл Хайнс тоже сторонился несчастного, да и Корнелл, уже стыдясь проблеска доброты, впервые проснувшейся в нем за долгие годы, не желал вступать с беднягой в разговор.

Наутро Билл Хайнс собрал мизерные остатки пропитания в кучу и разделил ее на четыре части. От порции Торнтона он отнял долю, примерно равную утраченной, и распределил ее между другими тремя. Все это он проделал молча: впрочем, слов для объяснения и не требовалось.

— И пусть Торнтон тащит свою жратву на себе, — пробурчал Йенсен. — Захочет впахнуть ее в себя разом — и пускай!

Какие муки пережил Джон Торнтон в последующие дни, ведомо одному только Джону Торнтону. Спутники не просто отворачивались от него с презрением: ему вменялось в вину самое гнусное и низкое преступление, какое только можно совершить, — предательство. И все же, чтобы не погибнуть, он, питаясь жалкими крохами, вынужден был держаться их общества. А у сотоварищей, когда он слизнул последнюю щепотку муки, провианта оставалось

на два дня. Торнтону пришлось срезать кожаные отвороты своих мокасин и сварить их; днем он жевал кору с ветвей ивы до тех пор, пока боль в распухшей и воспаленной глотке чуть не лишала его разума. Но все равно: он тащился вперед и вперед, спотыкаясь и падая, на четвереньках и ползком, почти постоянно в бреду.

Настал день, когда и компаньонам Торнтона довелось взяться за мокасины и зеленые побеги молодых деревьев. К этому времени поток, берега которого они держались, превратился в речушку, и отчаявшиеся путники принялись совещаться, не изготовить ли из плававших в воде стволов неустойчивый плот. И тут как раз они набрали на индейское поселение из дюжины хижин. Индейцы, однако, впервые в жизни увидев белолицых, встретили их тучей стрел.

— Гляньте-ка! На реке челноки! — закричал Йенсен. — Доберемся до них — и мы спасены! Надо только до них добраться!

Едва держась на ногах, они ринулись к берегу; туземцы с воплями бросились за ними вдогонку. Внезапно из-за дерева выступил облаченный в шкуру воин. Он вскинул длинное копье с наконечником из бивня, на мгновение задержал его над головой, а затем с силой метнул точно в цель. Копье просвистело в воздухе и глубоко вонзилось в бедро Джона Торнтона. Тот зашатался, потерял равновесие и рухнул на землю ничком. Хайнс и Йенсен, ковылявшие вслед за ним, кинулись один направо, другой — налево и махнули дальше.

Но тут случилось чудо. Дух Добродетели мощно завладел сердцем Бертрама Корнелла. Ничуть не колеблясь и повинаясь внутреннему голосу, он тотчас рванулся к беглецам и схватил их за руки.

— Назад! — прохрипел он. — Несите Торнтона к челнокам! Пока вы управитесь, я задержу индейцев!

— Прочь! — взревел датчанин, нашаривая нож. — Пусть меня прикончат, но тащить эту скотину я не стану!

— Это я украл бекон. Я его съел. Ну, ясно теперь? — Заметив недоверие в их глазах, Корнелл продолжил: — Я — вор, да смилостивятся надо мной на судилище Христовом! — Стрелы вокруг сыпались дождем. — Живее! Я их задержу!

Хайнс и Йенсен, кое-как придерживая с обеих сторон раненого Торнтона, немедля поплелись к челнокам, но Бертрам Корнелл повернулся к индейцам лицом и застыл на месте. Пораженные индейцы растерялись и замешкались, а Корнелл, видя, что этим выигрывает время, и мускулом не дрогнул. Индейцы обрушили на него град стрел с заостренными наконечниками.

Полдюжины стрел прошили Бертраму ноги и грудь, одна стрела впилась в горло. И однако он стоял выпрямившись и недвижно, точно каменная статуя. Воин, метнувший в Торнтона копьё, подкрался к нему сбоку, и они сцепились в рукопашной схватке. Видя это, прочие его соплеменники накиннулись на пришельца всей оравой.

В ходе битвы Бертрам услышал возглас Яна Йенсена, донесшийся до него из челнока, и понял, что соплеменники его вне опасности. Бился он до самого конца: в его жизни это было первое сражение за правое дело — и последнее. Когда все решилось, индейцы отступили в суеверном благоговении. Вместе с Бертрамом пали вождь племени и шестеро воинов.

Так вот, хотя Бертрам и прожил жизнь бесславно, умер он как настоящий человек — отважный, раскаявшийся в своей вине, искупивший причиненное им зло. Не было поругано и его тело. За доблесть в бою, когда он сразил вождя их племени, индейцы прониклись к нему уважением и похоронили как воина. А поскольку народ это был простой и никто из них раньше белолицых людей не видывал, то с течением времени о Бертраме Корнелле стали вспоминать как об «удивительном боге, который сошел с неба, чтобы умереть».

1900, опубл. 1926

СТАРАТЕЛИ СЕВЕРА

Рассказы и очерки разных лет

| | |
|--|-----|
| Из Доусона в оксан. <i>Перевод В. Быкова</i> | 737 |
| Через стремнины к Клондайку. <i>Перевод В. Быкова</i> | 746 |
| Король Мэйзи-Мэй. <i>Клондайкская история. Перевод В. Быкова</i> .. | 750 |
| Отвага и упорство. <i>Перевод В. Быкова</i> | 757 |
| Экономика Клондайка. <i>Перевод В. Болотникова</i> | 761 |
| Хаски — северная ездовая собака. <i>Перевод В. Болотникова</i> | 768 |
| До самой смерти. <i>Перевод В. Быкова</i> | 772 |
| Домашнее хозяйство на Клондайке. <i>Перевод В. Болотникова</i> | 777 |
| День благодарения на реке Славянке. <i>Перевод В. Болотникова</i> .. | 783 |
| Плешак. <i>Перевод В. Болотникова</i> | 790 |
| Разжечь костер. <i>Перевод В. Быкова</i> | 793 |
| Туманная хворь Хукла-Хина. <i>Перевод А. Бродоцкой</i> | 799 |
| Старатели Севера. <i>Перевод А. Бродоцкой</i> | 808 |
| Вверх по ледяному склону. <i>Перевод В. Быкова</i> | 822 |
| Кончина Моргансона. <i>Перевод С. Антонова</i> | 826 |
| Наперегонки с ледоходом. <i>Перевод К. Тверьянович</i> | 848 |
| Рожденная в ночи. <i>Перевод Н. Емельяниковой</i> | 856 |
| Конец истории. <i>Перевод Н. Rogовской</i> | 869 |
| «Как аргонавты в старину...». <i>Перевод В. Курелла</i> | 892 |
| Чудо Севера. <i>Перевод С. Сухарева</i> | 918 |